

**МЭРИ И ПЕРСИ
ШЕЛЛИ**

ФРАНКЕНШТЕЙН

ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ
ЗНАМЕНИТОГО
ПАРИ



Подарочные издания. Иллюстрированная классика

Мэри Шелли

**Франкенштейн. Подлинная
история знаменитого пари**

«Алисторус»

1816, 1831

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

Шелли М. У.

Франкенштейн. Подлинная история знаменитого пари /
М. У. Шелли — «Алисторус», 1816, 1831 — (Подарочные
издания. Иллюстрированная классика)

ISBN 978-5-907211-55-1

В мае 1816 года пятеро человек коротали вечера на берегу Женевского озера. Мэри Шелли со своим мужем знаменитым поэтом Перси Биши Шелли и сводной сестрой Клер Клермонт, писатель и врач Джон Полидори и легендарный к тому времени Джон Байрон не знали, чем себя занять. В один прекрасный день лорд Байрон предложил пари, выиграет которое тот, кто напишет самый страшный, самый «сверхъестественный» рассказ. Итогом этого конкурса стало рождение демона Франкенштейна, самого пугающего в истории мировой литературы романа. Никто не ожидал, что никогда ранее не писавшая Мэри создаст героя, который спустя много лет сведет с ума и саму писательницу. В настоящем издании публикуется существенно дополненная версия, которая была издана в 1831 году. История создания «самого чудовищного романа» рассказывается в путевых очерках Мэри и Перси Шелли, которые те писали в период своего вынужденного заточения на вилле в Швейцарии. Издание иллюстрировано картинами и гравюрами XIX века.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-907211-55-1

© Шелли М. У., 1816, 1831

© Алисторус, 1816, 1831

Содержание

Ты для меня весь мир, любимый мой. История Мэри Шелли	7
Одинокие души	7
Домашнее образование	14
Орлиное гнездо	18
Романтический эпизод	20
Слеток	26
Закрытые двери	28
Одна короткая жизнь	30
Трое мужчин, две женщины, два младенца	31
Знаменитое пари	35
Медицина XIX века. Новые горизонты	37
«Франкенштейн, или Современный Прометей». Рождение замысла	41
«Франкенштейн, или Современный Прометей». Сюжет	43
«Франкенштейн, или Современный Прометей». Смыслы	44
Возвращение в Англию. Бат	48
Бедная Фанни	50
История одной свадьбы	52
История трех девочек	54
Италия – путь утрат	56
Новая жизнь	58
Новые удары	60
Во главе семьи	61
Итоги	63
Жизнь идей	65
Франкенштейн, или Современный Прометей	67
О романе «Франкенштейн»	68
Предисловие к поэме «Освобожденный Прометей»	70
Предисловие к изданию 1818 года ¹⁶	74
Предисловие [автора к изданию 1831 года]	75
Письмо первое	79
Письмо второе	81
Письмо третье	83
Письмо четвертое	84
Глава первая	88
Глава вторая	91
Глава третья	94
Глава четвертая	98
Глава пятая	102
Глава шестая	105
Конец ознакомительного фрагмента.	107

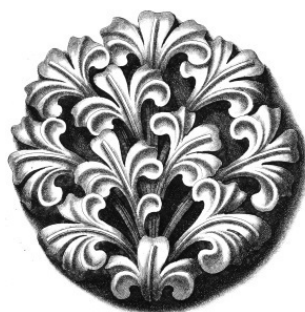
Мэри Шелли, Перси Биши Шелли Франкенштейн. Подлинная история знаменитого пари



© З. Е. Александрова (перевод), наследники, 2019

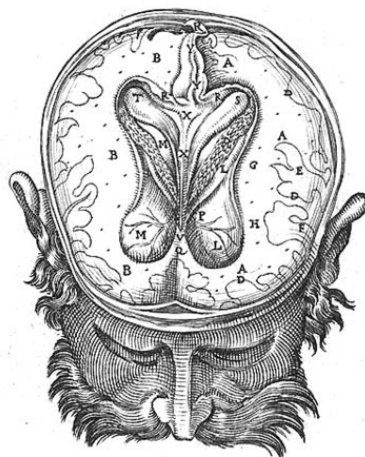
© Е. В. Первушина, худож. биография, 2019

© ООО «Издательство Родина», 2019



Ты для меня весь мир, любимый мой. История Мэри Шелли Елена Первушина

Одинокие души



Возможно, это было так...

Над суровыми Грампианскими горами и вересковыми равнинами, над обрывистыми морскими берегами, где гнездились тысячи птиц, над стремительными и смертельно опасными горными реками и прозрачными таинственными озерами, куда при свете луны заглядывали разгоряченные ночными плясками феи, над дубовыми лесами, где прятались олени и дикие коты, над узкими зелеными долинами, где скрывались маленькие бедные деревушки, гулял северный ветер. Этой ночью он безраздельно властвовал в Шотландии, гудел в кронах сосен, завывал в водостоках, бил огромными валами в стены маяков. Ветер гнал с севера, с Гебридских островов, темные тяжелые тучи, полные дождя, бросал пригоршни капель в ставни дома на берегу реки Тей, в четырех милях от Данди, где жила семья Джорджа Бакстера. Юная Мэри Годвин, прожившая здесь лето, поскольку ей прописали морские купания для поправки здоровья, не спала. Сейчас купаться было уже нельзя, но днем она превесело проводила время, играя с подругами в крикет, скатываясь кубарем с зеленых склонов холмов, забираясь на утесы, как горная козочка, и, утомленная играми, мечтала, сидя в ветвях склонившейся над потоком старой ивы и воображая себя русалкой. Но по ночам, особенно при северном ветре, своими завываниями наводившем тоску, она вновь становилась пятнадцатилетней девочкой, одинокой и тоскующей по отцу, которого обожала. Она верила, что где-то там, в Лондоне, он, может быть, думает о ней, и, лежа в постели и прислушиваясь к шуму дождя за окном, мысленно посылала ему привет через все расстояние, которое их разделяло.

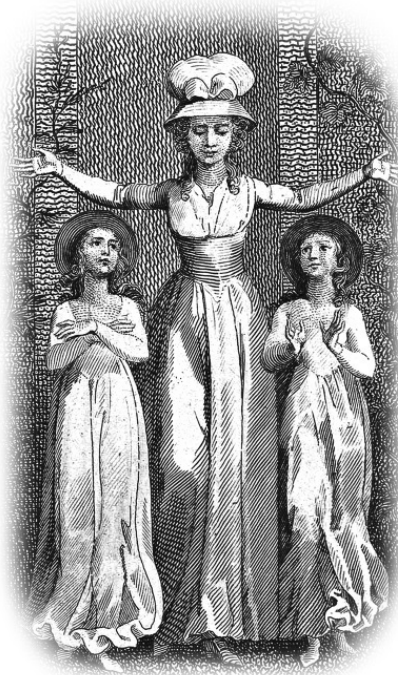
Ее отец, Уильям Годвин, тоже не спал в своем доме на Скиннер-стрит, улице Кожевников, в районе Холборн центрального Лондона. Тучный, преждевременно облысевший мужчина с высоким лбом и мягкими чертами лица сидел в кресле в своем кабинете и рассеянно листал детскую книжку, забытую кем-то из дочерей в гостиной. Сказки Шарля Перро, Синдерелла... Тихо пел сверчок, потрескивала свеча, за окном слышалось поскрипывание экипажа, мягкий перестук копыт, далекие голоса: какие-то гуляки горланили песню.

Его жена и дети, в том числе и маленькая владелица книжки, спали наверху, он же никак не мог заставить себя подняться в спальню и вновь и вновь рассеянно перечитывал начало сказки: «Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал. У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая – вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая...»

Когда он поворачивался в профиль к огню, казалось, что из-под маски добряка выглядывает совсем иной человек: с твердым подбородком, длинным носом с горбинкой, пристальным колючим взглядом. Таким знали его политические противники: неутомимым спорщиком, не уступающим ни на йоту, твердо уверенным в своих идеях, не признающим никаких авторитетов, кроме разума и справедливости. Но потом его взгляд снова затуманивался, Уильям прислушивался, словно пытаясь различить в ночных звуках шум ручья Олд-Брук, который засыпала землей более полувека назад и от которого район получил свое имя. Подземная река, река мертвых... Может быть, она отнесет его привет той, которая покинула его полтора десятилетия назад, той, кого он до сих пор так и не в силах забыть. Его губы беззвучно шептали: «Мэри». Но это было не имя жены, которая спала наверху, в супружеской постели, не имя дочери, тосковавшей о нем в Шотландии. Вглядываясь в темноту, он звал ту «самую красивую и добрую женщину», которая когда-то сделала его счастливым... Последние минуты, которые они провели вместе, навсегда запечатлелись в его сердце. Воспоминания были так живы и болезненны, будто и не прошло этих пятнадцати лет.

* * *

Мэри Уолстонкрафт-Годвин родила свою вторую дочь 30 августа 1797 года. Роды продолжались около шести часов, и дитя появилось на свет за полчаса до полуночи. Все прошло легко, и Мэри посмеивалась над привычкой английских женщин проводить в постели не меньше месяца после этого события. Она хвасталась, что, родив Фанни, на следующий день сама спустилась в столовую к обеду, и рассчитывала и на этот раз поступить так же. Придирчиво выбранная акушерка миссис Бленкинсоп была из тех женщин, которые считали, что нужно дать природе сделать свое дело и без необходимости не вмешиваться в процесс. Годвин провел эти шесть часов в гостиной, и едва акушерка порадовала его известием о том, что он стал отцом, как сразу же ее лицо стало тревожным, и она велела послать в госпиталь за доктором. Отбросив смущение, казавшееся ему неуместным, когда речь шла о любимой, Годвин спросил, в чем дело: если он сможет объяснить доктору, в чем проблема, тот не забудет захватить все необходимые инструменты. Акушерка рассказала ему: ее тревожит, что плацента до сих пор не вышла и кровотечение не прекращается. Годвин сам побежал в госпиталь и привел врача, который извлек плаценту по кускам. Операция была очень болезненной, Мэри потеряла много крови, но держалась мужественно и обещала Годвину, что никогда его не покинет. На некоторое время ей стало лучше, но через три дня начались припадки озноба, потом поднялась температура, Годвин вновь побежал за врачом. Оказалось, что часть плаценты осталась в матке и вызвала родильную горячку, от которой Мэри скончалась 10 сентября.



Фронтиспис к книге «Оригинальные рассказы из жизни» Мэри Уолстонкрафт. Художник – Уильям Блейк. 1791 г.

Мэри Уолстонкрафт (1759–1797) – британская писательница, философ и феминистка XVIII века. Мать автора «Франкенштейна» Мэри Шелли. Уолстонкрафт известна своим эссе «В защиту прав женщин» (1792)

В последние часы ее жизни Годвин, ловя малейшие проблески сознания, малейшее улучшение, спрашивал Мэри, как она советует ему воспитывать дочерей, пока она сама будет больна и не сможет ими заниматься. Такую ложь он придумал, чтобы, не встревожив больную, выведать ее последнюю волю, которую поклялся свято исполнить. Но Мэри уже не было дела до забот этого мира. Всю свою жизнь помогавшая слабым и нерешительным, подставлявшая свою волю, как костыль, тем, кто в этом нуждался, сейчас она была не в силах ни о ком заботиться. «Я знаю, ты об этом подумаешь», – отвечала она Годвину.

* * *

На самом деле он вряд ли был способен думать о чем-то, кроме своей утраты, еще долгое время спустя. Годвин происходил из семьи священника-диссентера – так в Англии называли пуритан и других верующих, чья религия, оставаясь в рамках протестантизма, тем не менее отклонялась от официально принятого вероисповедания англиканской церкви. Их больше не преследовали, как во времена Елизаветы и Карла, но атмосфера суровой решимости умереть за веру, но не поступиться ею ни на йоту, долго господствовала в этой среде. Всю юность Годвин пытался доказать родителям, что достоин их любви. Он поступил в диссентерский колледж в Хокстоне близ Лондона, позже стал диссентерским сельским священником. В 1784 году опубликовал свои проповеди под названием «Исторические эскизы в шести проповедях». Но, поняв, что для отца он все равно будет недостаточно хорош, переметнулся на другую сторону: стал атеистом и революционером, призывающим в своих трудах к уничтожению частной собственности.

Он получил известность как публицист за одну ночь, в мае 1794 года, когда неожиданно были арестованы и обвинены в государственной измене члены радикально-демократического «Корреспондентского общества» Британии, выступавшего за политические реформы. Годвин к тому времени стал опытным спорщиком, с остро отточенным пером и хорошими запасами яда в чернильнице – учеба в религиозном колледже не прошла даром. Он опубликовал статью «Беглая критика обвинения, предъявленного лордом – главным судьей Эйром большому жюри присяжных», разносящую в пух и прах аргументы обвинения. Статья в виде брошюры разошлась по всей стране. В результате суд вынужден был уступить давлению и оправдать всех обвиняемых. После того как раскрылось авторство Годвина, популярность его резко возросла.

Вероятно, он воспринял свое знакомство и сближение с Мэри как долгожданную награду, которую приготовила ему Мать-Природа – в Бога он больше не верил, и Мэри это вполне устраивало. Есть приятная разница между восхищением восторженной девочки и уважением зрелой женщины, которая любит, не идеализируя, прощает и ошибки и слабости, но не прощает упорства в заблуждениях. Годвин признавал, что Мэри куда опытнее его в близких человеческих отношениях, и ему было радостно учиться у нее. Она показала ему, что значит брать на себя ответственность за юные жизни, и он был готов не разочаровать ее, не подвести двух маленьких девочек, за которых отвечал перед памятью их матери.

Отчий дом

Первой нянькой маленькой Мэри была экономка Луиза Джонс. Она присматривала за девочкой, пока Годвин оправлялся от потрясения и писал «Воспоминания об авторе «Защиты прав женщин»» – книгу, удивившую современников своей откровенностью. В ней Годвин не только восхищался умом и сердцем Мэри, но и честно рассказывал о ее страсти к Фюзели, о незаконном сожителе с Имлеем, о рождении ребенка вне брака, о двух попытках самоубийства. Эти откровения вызвали дружное «ах!» ханжей и лицемеров и не менее дружное осуждение молодых, романтически настроенных друзей Годвина, которые считали, что мертвые должны представлять в мемуарах в идеализированном свете. Поэт Роберт Саути даже обвинил вдовца в «недостатке чувств и в раздевании мертвой жены донага». Но в том-то и дело, что Годвин пытался сохранить память о живой женщине, которую знал, а не о мертвом идеале. И много лет спустя Мэри-младшая будет ему благодарна: так она сможет узнать свою мать, которую никогда не видела. И так она получит первый урок недоверия к общественному мнению, потому что общество так и не приняло ту Мэри, которую описывал Годвин, «первую в своем роде» женщину, которая встала на защиту других женщин от вековой несправедливости. Общество увидело в ее презрении к условностям лишь развращенность и желание эпатировать публику. Ее называли проституткой и сравнивали с дьяволом. Понятно, что когда самой Мэри-младшей пришлось выбирать между любовью и репутацией, она не колебалась.

Но пока маленькая Мэри мирно агукала в колыбельке, а ее отец обдумывал ее воспитание. Он быстро решил, что дочерям просто необходимо руководство женщины более сведущей в светских обычаях, чем простая экономка, и, словно «почтенный и знатный человек» из сказки о Золушке, выбрал себе вторую жену.

* * *

В первый брак Годвин вступал по большой любви, второй был типичным браком по расчету. Мэри Джейн Клермон, молодая вдова с двумя детьми, была женщиной хозяйственной, с твердым характером, настоящей «большой хозяйкой маленького дома». Вероятно, она не собиралась становиться «злой мачехой из сказки», но постоянное невысказанное сравнение с первой миссис Годвин испортило бы даже самый ангельский характер. Мэри Джейн не бли-

стала прекрасным образованием, ее ум никто не назвал бы «развитым, подобно мужскому», но она бы на порог не пустила такую женщину, как Мэри Уолстонкрафт, и ни за что не позволила бы своим детям – малышу Чарльзу и Джейн – общаться с подобной особой. Теперь же ей приходилось выслушивать постоянные панегирики покойнице от мужа и его друзей.

Годвин писал своему приятелю: «Ни Фанни, ни Мэри не были воспитаны с тщательным соблюдением принципов и идей, разработанных их матерью. Я лишился ее в 1797 году, а в 1801-м вступил в новое супружество. Одним из побуждений, заставивших меня избрать его, было сознание своей неспособности дать воспитание девочкам. Нынешняя моя жена наделена умом сильным и деятельным, но не является убежденной последовательницей идей их матери». Скорее всего, Мэри Джейн не видела этого письма, но она не могла не ощущать подспудного разочарования Годвина, не могла не понимать, что каждое свое и ее решение он оценивает с точки зрения Мэри: что бы она подумала, что бы она сказала.

И хотя в 1803 году она подарила мужу сына, его любимицей все равно оставалась маленькая Мэри. В письме, процитированном выше, он откровенно восхищается ею: «У нее на редкость смелый, порою даже деспотичный, деятельный ум. Ей свойственна большая жажда знаний, и проявляемое ею во всем, за что она принимается, упорство поистине неодолимо. Я нахожу, что моя дочь необычайно хороша собой», а в другом письме он сознается: «Я нахожу, что в ней нисколько нет того, что повсеместно называют пороками, и что она одарена значительным талантом».

* * *

Как бы там ни было, безусловно, детство Мэри-младшей было более счастливым, чем у ее родителей. Сами принципы ухода за детьми претерпели в течение века серьезные изменения. В начале XVIII века детей туго пеленали так называемыми свивальниками, опасаясь, что в противном случае их ноги будут кривыми. Свивальники закрепляли булавками, которые часто кололи кожу, и меняли только один раз в день. При этом в детских старались поддерживать высокую температуру и беречь детей от сквозняков. Нетрудно догадаться, к каким последствиям это приводило. Когда дети подрастали, их часто помещали на целый день в «ходунки», жестко фиксируя маленькое тельце, чтобы они не могли подобрать что-нибудь с пола и сунуть в рот.

Маленькие англичане конца XVIII – начала XIX века, матери которых читали Руссо, Локка и Мэри Уолстонкрафт, по сравнению с предыдущим поколением казались настоящими счастливицами: первые полгода их еще пеленали, но уже не вытягивали в «солдатики», часто меняя пеленки и оставляя полежать голенькими. Детей рано начинали одевать в рубашечки и ползунки, которые скрепляются матерчатыми завязками, а не булавками. Восторжествовало мнение, что преждевременное обучение ходьбе портит походку. Малышам позволяли ползать в свое удовольствие, старались закалять, почаще выносить на свежий воздух и на солнце. В результате дети раньше учились ходить, реже страдали рахитом и туберкулезом. Улучшению условий, в которых жили дети, и снижению детской заболеваемости и смертности немало способствовало появление первых водопроводных систем и проточной канализации в богатых домах.

До 12–13 лет девочки носили легкие муслиновые платица. Когда они становились старше и их фигура начинала оформляться, их одевали в платья с корсетом. Сохранились воспоминания девочек о первых примерках корсета, в которых они жалуются на чувство стеснения и потери свободы. Впрочем, как мы уже знаем, если речь идет о начале века, на которое пришлось детство Мэри Годвин, тогда и взрослые женщины корсетами не злоупотребляли, предпочитая надеть несколько нижних юбок, которые создавали красивую линию для ново-

модных платьев с завышенной талией, подражающих античным одеждам. Если они и надевали корсет, то не шнуровали его туго.

Но детям грозили другие опасности: из-за плохого качества воды и малого распространения чая или кофе – только входивших в моду и поэтому дорогих продуктов – их часто поили слабым пивом или разбавленным вином. Чай и кофе считались возбуждающими средствами, а умеренное употребление вина, по мнению врачей, укрепляло детское здоровье. В 1834 году одна почтенная мать семейства негодовала на общества трезвости, потому что по их вине дети беспокоят плачем родителей, и утверждала, что джин – превосходное лекарство от колик. Весьма распространенным болеутоляющим средством при различных детских недомоганиях был опий. Его назначали даже при младенческих коликах и при прорезывании зубов. Возможно, в противовес этим медицинским рекомендациям в образованных кругах появилась мода на гомеопатию.

Дети получали мало хлеба и фруктов, так как в Англии хлеб часто бывал непропеченным, а фрукты недозрелыми, и родители вполне разумно опасались, что их употребление приведет к кишечным заболеваниям. В результате различные авитаминозы с изъязвлениями кожи и нарушениями нервной системы не были редкостью.

* * *

Детство Мэри во многом было типичным для лондонской девочки из среднего класса. Маленьких лондонцев из низших слоев описал ее младший современник Диккенс. Для Мэри, ее сестер и нянек эти оборванцы были опасными, дурными мальчишками и девчонками, воришками, шнырявшими по подворотням, и все же обладали странной притягательностью. Их игры, грубые словечки, дразнилки, мелкий товар, который они продавали: газеты, спички, фрукты и букетики цветов, – все это пробуждало любопытство. Не меньший интерес вызывали уличные торговцы: цветочницы, торговки пирогами, горячим супом или грогом зимой, лимонадом – летом, тряпичники, собирающие старую одежду, и евреи, ее продающие, уличные актеры и акробаты, торговки устрицами и крабами, продавцы мелких предметов, необходимых каждой хозяйке: наперстков, подушечек для булавок, лент, кружев. Торговцы «окрикивали улицы», громко и нараспев предлагая свои услуги: «Щетки половые! Щетки одежные! Щетки сапожные!», «Теплые булочки!», «Голландские носки за шиллинг!». Маленький трубочист, ростом меньше четырех футов, в лохмотьях, черных от сажи, тянул свое «Чистить дымоход!». Только такой кроха мог пролезть в узкие дымовые трубы лондонских домов, и то часто застревал в них, с трудом выбираясь, ломая руку или ногу, и к двенадцати годам становился калекой.

Под Рождество устраивали вертепы и балаганы прямо на улицах, разыгрывали пантомимы, например небезызвестную «Дом, который построил Джек», в обычные дни часто выступали кукольники или целые уличные театры.

А магазины! От лавки старьевщика, где можно было найти много странных вещей, назначение которых угадывалось далеко не сразу, до роскошного магазина игрушек, где можно было купить настоящую куклу, дорогую, деревянную, выточенную из сосны, или дешевую из папье-маше – смеси бумаги с песком, цементом и мукой, и увидеть восковую фигуру миссис Сиддонс – актрисы, звезды Друри-Лейн и Ковент-Гардена, подруги Мэри Уолстонкрафт. Самые дорогие – фарфоровые куклы украшали гостиные и материнские будуары, детям разрешалось лишь издали смотреть на них. Самых дешевых дети делали сами – из тряпочек. Девочки учились у матерей и нянек шить платья для кукол, а если в доме находился мужчина – отец или слуга, у которого хватало времени, смекалки и желания, то у девочек появлялись и кукольная мебель, и целые кукольные домики. Не брезговали играми в куклы и мальчики.

Но Мэри и ее сестры и братья не все время проводили на лондонских улицах, где было не очень-то чисто, а атмосфера была не слишком здоровой. Они много гуляли в лугах, окружающих Полигон, играли в вечные детские игры: прятки, догонялки, лошадки. Самыми распространенными игрушками у девочек, кроме кукол, были серсо и волан – прототип современного бадминтона. А вот скакалка была мальчишеской игрой: у девочек от нее могли слишком высоко задраться юбочки. Девочкам запрещалось кататься на палочках, лошадках-качалках и качелях-досках, то есть таких, на которых нужно было сидеть, раздвинув ноги, – это могло преждевременно возбудить их и навести на неприличные мысли. Для мальчиков подобные занятия почему-то считались неопасными.

Дети много времени проводили со слугами: убегая от няnek, вертелись на кухне, гостя в деревне, забирались в конюшню. На дружбу со слугами смотрели неодобрительно: их выговор кокни мог испортить произношение у маленьких леди и джентльменов. Но для девочек считалось полезным учиться домашней работе: не потому, что им предстоит ею заниматься, а потому, что им нужно следить за тщательностью работы слуг и давать им время от времени полезные советы. Мэри, например, особенно нравилось шить и вышивать – традиционные занятия, располагающие к мечтаниям.

Слуги благодарили маленьких помощниц и помощников куском чего-нибудь вкусненького, а по вечерам при свете свечи рассказывали страшные истории и сказки про чудовищ, которые пугали крестьян и преследовали хорошеньких девушек, про призраков, что бродили вокруг кладбищ и тех мест, где были убиты, про чертей, всегда готовых утащить в ад зазевавшуюся тщеславную кокетку. После таких историй дети, пугливо озираясь, пробегали темные коридоры, стремительно взлетали по лестнице, чтобы ни одному фамильному портрету не удалось схватить их за платье, если ему придет в голову такая блажь, и, быстро пробормотав молитву, забирались под одеяло. Сердца их стучали как сумасшедшие, а воображение играло, выходя из берегов. Что бы ни писала Мэри Уолстонкрафт о вреде страшных сказок и пользе нравоучительных историй, детям всегда было необходимо как следует испугаться хотя бы раз в жизни, а лучше не один. Факты и рассуждения питают разум, но иррациональные страхи и фантазии питают душу.

Домашнее образование

Что же касается «пищи для ума», то у маленькой Мэри был неиссякаемый ее источник: библиотека отца. Больше того, с 1805 года он начал издавать специальную серию книг для детского чтения. Идея принадлежала еще Мэри Уолстонкрафт, для Годвина эта серия была одним из способов увековечить ее память и дать жизнь ее идеям. В этом редком случае миссис Мэри Джейн Годвин поддерживала мужа, видя в издании источник постоянного дохода. Правда, доход, особенно для такой большой семьи, был недостаточным, и Мэри Джейн приходилось прилагать большие усилия, чтобы свести концы с концами, не случайно Мэри-младшая вспоминала, что у них в доме говорить о еде запрещалось. Но зато девочки были обеспечены интересным и полезным чтением, что помогало им при случае забыть о слишком скудном обеде и скоротать время до ужина.

Одним из самых успешных изданий Годвина были «Сказки из Шекспира», написанные Чарльзом и Мэри Лэм. В предисловии к своей книге они делают интересное замечание, которое раскрывает некоторые особенности образования девочек в Англии начала XIX века.

«Мы стремились, главным образом, писать для юных читательниц, – объясняют Лэмы, – поскольку мальчикам, как правило, гораздо раньше разрешают пользоваться отцовскими библиотеками, они часто знают наизусть лучшие сцены из Шекспира задолго до того, как их сестрам позволят заглянуть в эту взрослую книгу. Поэтому мы не столько рекомендуем сказки юным джентльменам, которым куда лучше будет прочесть оригинал, сколько просим их помощи: пусть они объяснят сестрам трудные места; а когда они помогут им преодолеть эти трудности, тогда, быть может, они прочтут им вслух (тщательно выбирая то, что годится для маленькой сестренки) какой-нибудь особенно понравившийся отрывок точными словами той сцены, из которой он взят. Надеемся, они увидят, что эти красивые отрывки, эти избранные пассажи будут гораздо лучше поняты и доставят гораздо больше удовольствия их сестрам, оттого что те уже имеют некоторое представление о сюжете по одному из наших скромных их изложений».

Из этого мы можем заключить, что Мэри, Фанни и Джейн имели некоторое преимущество перед большинством своих сверстниц, так как Годвин в соответствии с заветами Мэри Уолстонкрафт выбирал книги, ориентируясь на их возраст, развитие и склонности, но не на их пол.



Портрет Уильяма Годвина. Художник – Джеймс Норткот. 1802 г.

Уильям Годвин (1756–1836) – английский журналист, политический философ и романист, драматург, один из основателей либеральной политической философии и анархизма. Муж писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт, отец писательницы Мэри Шелли.

«К несчастью, не все гении – хорошие люди...»
(Уильям Годвин)

Чарльз Лэм, поэт, эссеист и сатирик, был другом Годвина и часто бывал у него в гостях. Еще одно дитя Лондона, сын бедного чиновника, он обладал примечательной внешностью: «его легкое тело, такое хрупкое, что, казалось, дуновение могло бы опрокинуть его, было облечено в темное пасторское платье и поддерживало голову необыкновенно благородной формы; лицо его было приятно и выразительно. Черные волосы крупными завитками ложились на широкий лоб, в мягких карих глазах светилось множество мыслей и чувств, но более всего – печаль... Эта голова, красиво поставленная на плечи, придавала значительность и даже достоинство маленькому невзрачному туловищу» – так описывали Лэма его знакомые.

С его сестрой Мэри (еще одна Мэри в нашей истории!) была связана семейная трагедия: из-за бедности родителей не получившая систематического образования, она с детства должна была зарабатывать на жизнь шитьем и ухаживать за тяжело больной матерью, а ее брат учился в бесплатной школе Христовой приюта, изучал латынь и греческий и классическую литературу. На десять лет старше брата, Мэри заразила его любовью к чтению, но у нее самой не осталось ни сил, ни времени на то, чтобы заниматься хотя бы самообразованием. От тяжелых физических и моральных нагрузок у Мэри развилось душевное заболевание, и во время одного из припадков безумия она ударила ножом свою мать, отчего та умерла. Чарльз, мучимый состраданием к сестре, посвятил свою жизнь ей, ухаживая за ней в минуты обострения болезни и работая вместе с ней над книгой о Шекспире. Мэри пересказывала комедии, а Чарльз – трагедии. Позже они создали пересказ «Одиссеи», вышедший в 1808 году. В его стихах, обращенных к Мэри, звучит раскаяние и осознание своей вины. Он умоляет ее простить ему резкие упреки и раздраженные жалобы – «заблуждения больной души, пятнающие чистые воды разума».

Такие секреты редко удается скрыть от детей, и, вероятно, они были в той или иной степени осведомлены о жизненных перипетиях гостя их родителей. Если Мэри Годвин хотя бы краем уха слышала эту историю, она не могла не произвести впечатления на ее живое воображение. А стихи Лэма о расставании с кроткой белокурой возлюбленной, похожей на лунный луч, и о прощании с «друзьями далекого детства», которому было посвящено одно из самых известных его сочинений «Забутые милые лица», не могли не тронуть ее сердца.

* * *

Еще одним частым гостем Годвина был Сэмюэль Кольридж, бывший однокашник Лэма по школе Христовой приюта. Обладавший большим поэтическим дарованием, чем Лэм, Кольридж мог с большей вероятностью научить девушек «плохому». В одной из самых известных своих поэм он рассказывает о корабле, занесенном ветром к Южному полюсу, в снежную пустыню, где «лишь мертвый лед кругом, лишь треск ломающихся глыб, лишь грохот, гул и гром». Из ледяного плена корабль выводит альбатрос, но старый мореход убивает его, и моряков настигает возмездие. У экватора они попадают в штиль и начинают умирать от жажды. Их преследует Дух Южного полюса, «один из тех незримых обитателей нашей планеты, которые суть не души мертвых и не ангелы, – поясняет в примечаниях Кольридж. – Чтобы узнать о них, читай ученого еврея Иосифа и константинопольского платоника Михаила Пселла. Нет стихии, которой не населяли бы эти существа». На призрачном корабле приплывает Смерть, и экипаж

корабля превращается в призраков, за исключением убийцы – он должен жить и вечно раскаиваться в своем грехе. Корабль призраков, сопровождаемый светящимися морскими змеями, доставляет его на родину. Теперь он должен рассказывать свою историю для того, чтобы хоть на короткое время обрести покой.

Сохранилось предание о том, что однажды на семейном вечере Кольридж читал «Поэму о старом мореходе» и случайно обнаружил под диваном забившихся туда дочерей хозяев. Юных любительниц поэзии и шалостей хотели выдворить в спальню, но Кольридж заступился за своих поклонниц, и им позволили дослушать поэму до конца. Пожалуй, ни одной няньке и ни одной горничной не удавалось вселить в девиц такой сладкий ужас своими рассказами. Хорошо еще, что Кольридж не выбрал тогда для чтения другую свою поэму, «Кристабель», в которой он рассказывал о леди Кристабель, дочери барона, рано потерявшей мать, и о ее встрече в темном лесу с таинственной Джеральдиной, способной околдовывать взглядом и являющейся, по всей видимости, воплощением дьявола. Поэма настолько наполнена фантазиями о насилии и намеками на запретные страсти, что, кажется, сам Фрейд должен покраснеть, читая ее.

* * *

Чарльз Лэм и Кольридж принадлежали к старшему поколению поэтов-романтиков, к так называемой Озерной школе. Ее окрестили в честь Озерного края, прекрасной местности на северо-западе Англии в графстве Камбрия, где они черпали свое поэтическое вдохновение.

Еще двое из этой компании, Роберт Саути – тот самый, который упрекал Годвина за излишнюю откровенность его воспоминаний о Мэри Уолстонкрафт, – и Уильям Вордсворт, тоже нередко бывали на Скиннер-стрит. Годвин был для них «старшим товарищем», наставником, его экономические и политические идеи, его понятия об общественной справедливости стали тем золотым эталоном, на который они равнялись. Став свидетелями Великой французской революции в очень молодом возрасте, они были потрясены ее последствиями и наступившей в Англии реакцией. Вместе с Саути Кольридж написал трагедию «Падение Робеспьера», после этого друзья одно время намеревались перебраться в Америку, чтобы организовать там коммуны «без царей, попов и слуг», которую называли бы «Пантисократия». Поездка не состоялась из-за отсутствия средств.

Озерный край был зримым противопоставлением Лондону и вообще культуре больших промышленных городов, которая в последние годы набирала силу в Англии. В Лондоне – грязь и скученность, здесь – просторы пустошей, заросших вереском и папоротником-орляком, приобретающим осенью ржаво-рыжий оттенок, «уютная сень» дубовых лесов, гладь двенадцати озер с чистой водой, четыре из которых считались крупнейшими в Англии – Уиндермир, Алсуотер, Бассентуэйт, Деруэнт-Уотер. В Лондоне – закопченные стены домов, здесь – суровые и прекрасные склоны Камберлендских гор, сохранившие первозданную дикость. В Лондоне – всеобщий разврат, здесь – патриархальная чистота нравов. «Я никогда не смогу понять одной вещи, – писал Вордсворт о Лондоне, – как люди могут многие годы жить по соседству и так и не узнать имени друг друга». Вордсворт родился на северной границе Озерного края, позже уехал учиться в Кембридж и вернулся сюда в 1798 году, чтобы воспеть великое животворящее действие плеска озерной воды, шума горных ручьев, песен жаворонка, бега облаков в голубом небе, белизны нарциссов, словно танцующих на весеннем лугу. «Настоящий поэт должен по мере сил способствовать совершенствованию человека... делая его более разумным, чистым и постоянным, то есть созвучным Природе», – писал он. Под этими словами подписались бы все поэты Озерной школы. Отказавшись от культа Разума, дискредитировавшего себя в годы террора во Франции, они воссоздали культ Природы как хранилища всех изначальных ценностей человечества. В частности, они ввели в моду путешествия сначала в Озерный край, а позже в другие живописные уголки Европы с целью излечения от заразы больших городов и обретения

изначальной мудрости. Теперь ее ищут не в тени библиотек, не в художественных галереях, не в роскошных дворцах, а на лоне природы. Там учатся, говоря словами еще одного романтика, Вильяма Блейка: «В одном мгновенье видеть вечность... и небо – в чашечке цветка». Недаром в Озерный край стремятся самые просвещенные герои Джейн Остин – чета Гардинеров и Элизабет Беннет, туда же, в Озерный край, Саути позже пригласит Шарлотту Бронте.

Поэзия решительно отвернулась от больших городов и провозгласила возвращение к Великой Матери-Природе. Но далеко не все романтики удовлетворяются, как Вордсворт, сельской идиллией. Природа в их стихах часто предстает грозной и пугающей, она будит воображение, рисуя страшные картины. Тот же Кольридж в том же 1798 году описывает свои видения под влиянием опиума в незаконченной поэме «Кубла-хан», где появляются не только «сады и ручьи», «оазис плодородный» и «чертоги наслажденья», но и «древний лес», «гигантские пещеры», «расселина... где женщина о демоне рыдала», таинственные крики из темноты пещер, в которых Кубла-хан слышал, «что возвещают праотцы войну», могучий гейзер, что «в небо взметывал обломки скал», и главное – стремительный «поток священный», символ быстротекущего времени, неуловимого и неостановимого. Кольридж рассказывал, что после пробуждения ясно помнил все прекрасные строки, явившиеся ему, но его отвлек посетитель какими-то суетными повседневными делами, и, вернувшись в комнату, поэт с горьким разочарованием обнаружил, что все забыл. Мораль читалась между строк: «Лови момент! Лови вдохновение! Не разменивайся на мелочи! Красота и переживание красоты – единственное, что в человеческой жизни достойно вечности!». Все эти образы – азбука романтического отношения к жизни, той новой эстетики и нового искусства любви, которую Мэри Годвин вскоре предстоит выучить.

Орлиное гнездо

А пока она отправляется с мачехой и сводной сестрой в гораздо более прозаическое путешествие. Втроем они едут в приморский городок Рамсгейт на юго-восточном побережье пролива Ла-Манш, в графстве Кент, которое называют «Садом Англии». Здесь живет приятельница миссис Годвин, и здесь Мэри предстоит обучаться в пансионе.

Пансион у нее, как и у прочих наших героинь, не оставил хороших воспоминаний – возможно, все дело в бедности родителей, которые не могли себе позволить действительно приличное заведение. Так или иначе, попробовав школьной муштры и голода, через полгода Мэри вернулась домой. В Рамсгейте она отточила свой французский и попробовала силы в переводе «Размышлений и писем Людовика XVI».

Ее возвращение оказалось испытанием для миссис Годвин, которая едва вздохнула с облегчением, сплавив с рук строптивного и упрямого ребенка, и теперь сполна оценила, что значит быть мачехой подростка. Мэри, с ее «на редкость смелым и деспотичным умом», вступила в долгий конфликт с Мэри Джейн, у которой, согласно определению Годвина, был «ум весьма сильный и деятельный». Очевидно, это противостояние двух умов и характеров настолько утомило Годвина, что он ухватился за приглашение Уильяма Бакстера обеими руками, тем более что Мэри, возможно, на нервной почве, стала жаловаться на боли в руке и ограничения движения. Врачи заподозрили костный туберкулез и посоветовали морские купания. Возможно, именно там она начала писать. «Нет ничего удивительного в том, что дочь родителей, занимавших видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве и марала бумагу еще в детские годы, – вспоминала она. – «Писать истории» сделалось любимым моим развлечением. Но еще большей радостью были грезы наяву, возведение воздушных замков, когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Грезы эти были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим – стремилась делать все как у них, но не то, что подсказывало мне собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя – подруги моего детства; грезы же принадлежали мне одной; я ни с кем не делилась ими, они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга».

Интересно, что при всех неладах с мачехой Мэри с удовольствием дружила со сводной сестрой Джейн Клермон. Джейн, живая, смешливая, более общительная и приземленная, чем Мэри, служила, как это часто бывает, своего рода буфером между нею и внешним миром. Джейн и отец были, пожалуй, единственными людьми, расставание с которыми тяготило Мэри, когда она уезжала в Шотландию.

* * *

В те годы уже был опубликован сборник «Песни Шотландской границы» Вальтера Скотта, еще одного из сторонников Озерной школы. Однако его знаменитым шотландским романам «Уэверли» (1814), «Гай Мэннеринг» (1815), «Антиквар» (1816), «Пуритане» (1816), «Роб Рой» (1818) и «Легенда о Монтрозе» (1819) еще только предстояло привлечь внимание публики к красотам горной Шотландии, и романтику этой северной страны Мэри Годвин открывала самостоятельно.

«То было мое орлиное гнездо, где я жила свободно и ничто не мешало мне общаться с созданиями своего воображения», – позже напишет она в предисловии ко второму изданию «Франкенштейна». Здесь ее фантазии получили наконец необходимую им «подкормку» из ярких впечатлений и расцвели буйным цветом. «Истинные мои произведения, где вольно взлетала фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах сосед-

них гор, – рассказывает Мэри. – В героини повестей я никогда не избирала самое себя, чья жизнь представлялась мне чересчур обыденной. Я не мыслила, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения, но и не замыкалась в границах своей личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте казались мне куда интереснее собственного бытия».

Вероятно, помня о домашних скандалах, которые сводили его с ума, Годвин в письме Бакстеру предупреждал: «...думая о том, какие неудобства вам причинит, возможно, это устроенное мной посещение, я ощущаю трепет... В моем предыдущем письме я выражал желание, чтобы к первым двум, а то и трем неделям ее визита вы отнеслись как к испытанию сил, которое покажет, удобно ли вам принимать ее, или вернее, выражаясь искренне и беспристрастно, насколько свойственные ей привычки и понятия мешают вашим близким (что было бы очень неуместно) жить так, как они привыкли... Вы понимаете, надеюсь, что я пишу это отнюдь не с тем, чтобы она была окружена каким-то исключительным вниманием или чтобы кто-нибудь из ваших близких хоть в малой степени стеснял себя из-за нее. Я очень бы желал, чтоб (в этом смысле) она росла философом и даже циником. Это придаст и силу и еще большее достоинство ее характеру».

Но все прошло на удивление гладко. Вырвавшись из душной атмосферы Лондона, избавившись от ненавистной мачехи и расправив крылья в вольном воздухе Шотландии, Мэри мгновенно превратилась в милую и неприхотливую девушку, которую вовсе не нужно было развлекать и занимать, она с успехом занимала себя сама. Больше того, она близко сдружилась с младшей дочерью Бакстеров – своей сверстницей Изабеллой. Именно ей Мэри показывала свои сочинения. Своими же фантазиями она, как сама признавалась позже, не делилась ни с кем, и добродушные Бакстеры даже не подозревали, какими мыслями и мечтами набита эта хорошенькая головка.

Романтический эпизод

10 ноября 1812 года пятнадцатилетняя Мэри, выросшая и окрепшая, возвращается в Лондон вместе с Кристиной Бакстер, одной из старших дочерей Бакстеров.

11 ноября в гости к ее отцу приходит его новый приятель вместе со своей молодой женой. Пара знакомится с дочерью хозяина.

Юноше около двадцати. Он очень красив – тонкая и стройная фигура, нежное лицо с легким румянцем, лучистые голубые глаза и вьющиеся золотисто-каштановые волосы. Он принадлежит к знатной и богатой семье, и ему предстоит унаследовать титул баронета. Девушке – всего шестнадцать. Ее отец – состоятельный ресторатор, владелец кофейни. Она училась в пансионе вместе с сестрами будущего мужа и в письмах жаловалась на строгость отца, на то, что несчастна дома. Юноша, закончивший Итон, ставший идейным вегетарианцем и проучившийся год в Оксфорде, откуда был изгнан за публикацию памфлета «Необходимость атеизма», познакомился с ней, почувствовал симпатию и решил спасти от тирана. Он увез девушку в Шотландию, где для заключения брака не требовалось обязательного согласия родителей и оглашения в церкви имен помолвленных в течение трех воскресений, чтобы каждый желающий мог прийти и поведать прихожанам причины, по которым эти двое не могут пожениться. Браки «уводом» были очень популярны в Англии начиная с середины XVIII века, когда требование на согласие родителей было внесено в английское законодательство. Нередко родственники устраивали за влюбленными погоню, и их судьба зависела от быстроты лошадей и удачи – если они успевали добраться до Гретна-Грин – первой шотландской деревушки по дороге из Лондона в Эдинбург – и обвенчаться у местного священника, то «соединенных Богом уже не могли разлучить люди». Существовали даже специальные термины: elopement – тайное бегство влюбленных, не обязательно для заключения брака, и Gretna Green marriage – «свадьба в Гретна-Грин», свадьба с побегом. Всего к помощи гостеприимной Шотландии прибегли около 10 000 пар, пока в 1856 году законодатели не постановили, что для того, чтобы получить право обвенчаться в Шотландии, хотя бы один из вступающих в брак должен быть ее гражданином.

Юноша – а его звали Перси Биши Шелли – видимо, хорошо продумал план побега, и ему с его возлюбленной Гарриет не было необходимости нестись сломя голову к алтарю, едва они пересекли границу. Они поженились без всякой спешки, после чего отправились в Озерный край к Роберту Саути. Возможно, именно впечатлениям Шелли от этой поездки мы обязаны описанием, появившимся позже во «Франкенштейне»: «Я почти мог вообразить себя в горах Швейцарии. Небольшие участки снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурное течение горных речек – все это было мне привычно и дорого сердцу».



Бюст Перси Биши Шелли.

Скульптор – Уильям Ордвей Партридж. 1900-е гг.

Шелли был поэтом и считал необходимым навестить своих знаменитых коллег, разделяющих его радикальные политические взгляды. Но Саути отошел от политики. Однако он посоветовал Шелли списаться с Годвином, чьи идеи просвещения и политической справедливости юноша когда-то воспринял с благоговением и восторгом. И вот – встреча в Лондоне. Ни Мэри, ни Перси не оставили о ней воспоминаний, но Джейн Клермон, в то время учившаяся в одной из лондонских школ и присутствовавшая на этом обеде, вспоминает, что Шелли в тот вечер «выглядел как всегда: диким, интеллектуальным и неземным, словно ангел, спустившийся с небес, словно демон, поднявшийся из недр земных». Надо думать, она самую малость преувеличивает.

Юная Мэри очарована романтической историей новобрачных, а сам новобрачный... очарован юной Мэри. Позже он напишет другу: «Своеобразие и прелесть ее натуры открылись мне уже в самых ее движениях и звуках голоса. Неудержимая сила и благородство ее чувств видны были и в жестах, и в наружности – как заразительна, как трогательна была ее улыбка! Мэри нежна, сговорчива и ласкова, но может страстно вознегодовать и загореться ненавистью. По моему, нет такого совершенства, доступного натуре человека, какое не было бы ей безусловно свойственно и очевидных признаков которого не обнаруживал бы ее характер».

* * *

Через два дня чета Шелли уезжает в Уэльс, но позже, во время своих визитов в Лондон, Шелли навещает Годвина. Гарриет очень недовольна этим знакомством. Ей не нравилась жена Годвина, «отвратительная кокетка» по ее отзыву, не нравилось, что Годвин пытается вовлечь Шелли в политику. Возможно, ей не нравилось и еще кое-что, например, что Годвин, находящийся в стесненном положении, без зазрения совести берет у своего юного и богатого друга деньги на развитие издательского бизнеса. Так или иначе, Гарриет тревожила эта дружба.

Годвин был очень любезным хозяином, он предоставил Кристи и Мэри полную свободу: они могли вставать, когда им захочется, завтракать в своей комнате и проводить время как

заблагорассудится. Кристи, которая была воспитана дома в строгих пуританских нравах, напугал мистер Лэм, пожелавший во время знакомства поцеловаться с юной шотландкой. В другой раз за ужином девушки устроили целый диспут о правах женщин. Кристи и Фанни отстаивали право женщины жить лишь своим домом и семьей, Мэри и Джейн утверждали, что она должна иметь более широкий кругозор.

Возможно, Годвин понял, что его молодой друг все чаще отворачивается от своей жены и обращает взгляд на его дочь, возможно, он ничего подобного не заметил, а просто следовал заранее составленному плану. Но, так или иначе, в июне 1813 года Мэри вернулась в Шотландию и прожила там еще девять месяцев.

У четы Шелли тем временем родился ребенок: дочь Элизабет, для которой отец выбрал красивое и необычное прозвище Ианта, что означало «гиацинт». Согласно греческой легенде, гиацинты выросли на могиле прекрасной гречанки, носившей это имя. Такая похоронная тематика не показалась Шелли неуместной. «Он чрезвычайно любил своего ребенка, – вспоминал друг Шелли Пикок, – и подолгу мог расхаживать взад и вперед по комнате с ребенком на руках, напевая ему монотонную мелодию своего собственного изобретения».

Женщина с именем Ианта стала одной из героинь поэмы «Королева Маб», опубликованной Шелли в 1813 году. Поэма вдохновлена идеями Годвина о неизбежности исторического прогресса, которые Шелли поместил в обертку из сказочной истории о королеве фей Маб, той самой «повитухе фей», насылающей людям счастливые сновидения и помогающей им породить свои мечты, которую воспевают Меркуцио в «Ромео и Джульетте». В прологе поэмы Шелли Маб возносит в своей крылатой колеснице душу спящей девы Ианты, воплощающей в себе человечество, к звездам и показывает ей жестокость прошлого и настоящего, а после рисует картину счастливого будущего, в котором свободные и могущественные люди обустроят свою планету, делая ее пригодной для жизни: меняют климат, разводят сады в пустынях. Все голодные накормлены, все неимущие одеты и обуты, все страхи побеждены. Шелли, как и многие родители до него, надеялся, что его дитя будет жить в лучшем и совершенном мире.

Поэма посвящена Гарриет, и в посвящении Шелли щедро рассыпает жене комплименты: ее похвала – величайшая награда для него, от ее нежных взглядов воскресает его душа, она – его вдохновение, его радуга, его любовь к ней никогда не иссякнет. Но эта страсть показная. На самом деле отношение Шелли к Гарриет резко изменилось.

Рождение ребенка, а скорее первые месяцы после его рождения часто являются испытанием для молодых пар. Они, как правило, неопытны в уходе за младенцами, не готовы к свалившейся на них ответственности, и непредсказуемость поведения ребенка, ощущение своей беспомощности и беспомощности партнера регулярно повергает их в отчаяние, заставляя проявлять худшие черты характера. Некоторые пары благополучно проходят этот период, их любовь изменяется, становится менее слепой и идеализирующей, они теряют множество иллюзий друг относительно друга, но на смену восхищению приходит сочувствие и близость. Они словно увидели все самое страшное, что может произойти с любимым человеком, всю слабость и подлость, что таится в глубине его души, и убедились, что эта подлость не безградна. Она обычная, человеческая, и они вполне могут с ней ужиться.

Но нередко случается так, что первые испытания убивают любовь. Именно это произошло в браке Шелли и Гарриет. Разность в образовании, разность в видении будущей жизни, незаметная в первые годы любви, теперь остро выступила на первый план. В 1814 году Шелли пишет о своем браке с Гарриет как о «безрассудном и безлюбом союзе», сетует на то, что тщетно потратил слишком много времени и сил на то, чтобы «развить ее ум», и отрекся от других своих интересов. «И мне почудилось, что живой и мертвый слились в пугающем объятии». Бедняжка Гарриет! Уж она-то была не мертвой, а, напротив, очень живой, молодой матерью, гордой и взволнованной своим материнством и ожидавшей от супруга, который был старше ее на несколько лет, отнюдь не «развития ума», а заботы и поддержки. Она любит его

по-прежнему и не хочет верить в его охлаждение. Но Шелли оказался не готов к прозаической роли мужа и отца. Он снова отдался поэтическим мечтаниям. «Помнится, однажды я предпринял пешую прогулку из Брэкнелла в отцовское имение (что составляет сорок миль), – пишет он другу. – Воображаемые происшествия длинной чередой носились перед моим мысленным взором, пока мои мечтания не достигли настоящих чувств. И вот уже мне встретилась подруга, назначенная мне судьбой, и вот она уже отвечает на бурные мои восторги, и вот побеждены препятствия, мешавшие нашему полному единению. Я зашел так далеко, что стал обдумывать послание к Гарриет о том, что полюбил другую. За этими мечтаниями я не заметил, как прошел весь путь, в конце которого не ощутил усталости».

* * *

А та, что назначена ему судьбой, возвращается в Шотландию, в гостеприимный дом Бакстеров. Долгожданная встреча с Изабеллой – подруги не могут наговориться. Но вскоре все новости обсуждены много раз, и жизнь возвращается в привычную колею, как будто Мэри никуда и не уезжала. Снова девочки бродят целыми днями по холмам, болтая и фантазируя. Изабелла, интересовавшаяся историей Французской революции, считает Мэри счастливницей: ведь ее мать была там и все видела своими глазами. Бакстеры тоже некоторым образом причастны к этим событиям, их небольшое состояние сколочено в годы наполеоновских войн. Они поставляли джут и лен армии Веллингтона. Девушки обсуждают историю своих семей и мировую историю, гуляя у подножия «Трех граций» – скал, между которыми струится Тей. Ужасаются злодеяниям Робеспьера и восхищаются Шарлоттой Корде и «неистовой республиканкой» Манон Ролан, которая умерла на гильотине, сказав своим палачам: «Как мне вас жалко... Вы можете послать меня на эшафот, но не можете лишить меня той радости, которую доставляет чистая совесть». Позже Мэри Годвин напишет: «Я... долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и безлюдных северных берегах Тей, близ Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и безлюдными, но тогда они не казались мне такими».

Изабелла показала ей Данди, город, расположенный на берегу длинного залива Ферт-о-Тей, там, где Тей сливается с рекой Эрн, город китобоев, торговцев и промышленников: ткачей, производящих джут, лен и хлопок. Жители Данди очень предприимчивы. Например, в верхних залива, где раскинулись болота, сто лет назад начали сажать тростник, чтобы предотвратить разрушение берегов. Теперь там огромные плавни, самые большие в Великобритании, где местный люд собирает тростник для кровель.

По воскресеньям семейство ходит в церковь. Бакстеры – гласситы, они принадлежат к секте, основанной в 1730 году в Шотландии преподобным Джоном Глассом. На своих проповедях они говорят об «оправдании верой», о том, что для спасения нужно лишь горячо и искренне верить в то, что «жертвы Христа достаточно для того, чтобы сам «отец греха» предстал непорочным перед Создателем». Подражая апостолам, они омывают друг другу ноги и приветствуют новообращенных «святым поцелуем». Они не требуют от своих старшин, священников и епископов «книжной премудрости», не видят необходимости в специальном образовании для них – священнослужителей выбирают всей общиной из числа добропорядочных и уважаемых людей. Произнести проповедь тоже может каждый, кто «владеет даром поучать братьев». После проповеди гласситы, подражая первым христианам, собираются на «трапезы любви». Здесь подают не символические кусочки хлеба и глотки вина, как в других общинах, но сытную и горячую шотландскую похлебку – гласситы называют ее «Кайл Кирк», – которую готовят вскладчину из баранины или говядины с перловой крупой и овощами. Этот обычай возник отчасти как благотворительность, чтобы бедные члены общины, каковых было большинство, могли хоть раз в неделю наесться досыта, отчасти в связи с тем, что многим прихо-

жанам, в том числе и Бакстерам, приходилось проделывать долгий путь для того, чтобы присутствовать в церкви, и по окончании службы их ждал не менее долгий путь домой.

Одновременно с такими проявлениями братской любви, смирения и заботы их церковь чрезвычайно строга к инакомыслящим. Их изгоняют из общины, с ними запрещают делить кров, хлеб и воду. Впрочем, в этом гласситы не оригинальны.

Для Мэри это первый случай столкновения с истинно верующими людьми. В ее родном доме по вечерам читали политические трактаты, здесь читают Библию. Атеист Годвин не мог не дать дочерям хотя бы азов религиозного образования, иначе они оказались бы «белыми воронами» в современном им обществе. Однако он не мог и не развивать в девочках критичность и независимость мышления. Мэри ясно видит простодушие и глубину веры Бакстеров, но и множество проявлений неосознанного лицемерия: и то, как гласситы поступают с несогласными, и то, что их максима «вещи связывают и убивают» и проповедь нестяжательства не мешают им накапливать состояние.

При этом гласситы, как разумные люди, вовсе не считают прочих христиан прислужниками сатаны, от которых нужно держаться подальше. Изабелле и Мэри никто не мешает осматривать остальные достопримечательности Данди: готическую церковь святой Марии XVI века, на то время самую большую в Шотландии, с самой высокой колокольной, – они лишь не могут молиться вместе с прихожанами этой церкви – и остатки старого замка, разрушенного в XVII веке в войне между шотландским парламентом и роялистами – сторонниками Карла I.

Изабелла с гордостью показывает только что построенный маяк Белл-Рок (Колокольная скала), возведенный прямо посреди моря, на подводном рифе, и освещающий путь кораблям. Строителям приходилось работать лишь во время отлива, многократно проделывая 24-километровый путь от берега до рифа и обратно. Титанический труд! Слабые люди вступили в единоборство с неодолимой силой стихии и выиграли, заплатив, правда, двумя жизнями за свое дерзновение. Эту битву затеял молодой инженер Роберт Стивенсон, дед знаменитого писателя. Но об этом девушки, разумеется, не знают.

У них есть и свои собственные тайны, свои секретные места, о которых старшие не подозревают. Они посещают холм на Гертли-стрит, где в Средние века сжигали ведьм, и приходят на Календар-Клоуз, чтобы увидеть дом, где жила знаменитая колдунья Гизель Джаффри. Они забираются на скалу Лоу, чтобы прижаться щекой к камню и загадать желание. Конечно же, о суженом! И скоро оно сбудется.

Изабелла сумела увлечь Мэри недавними событиями, а Мэри заразила подругу любовью к страшным историям. Шотландцы знают их множество! О чудовищном Морском Коне, который, прикидываясь молодым щеголем, соблазняет девушек, а потом показывает свою истинную личину, и бедняжки сходят с ума от ужаса и умирают, о рыцаре-эльфе, заманивающим в холм храбрых воинов, о безобразной старухе-ведьме, которая берется помочь молодой королеве, но в награду требует, чтобы та отдала сына, о королевском сыне, колдовством обращенном в пса, и о его сестре с зеленой кожей, которые обретут прежний облик, лишь когда их кто-то полюбит.

По свидетельству самой Мэри, ей довелось попутешествовать по Шотландии. Вероятно, она посетила Данкельд с его прекрасным готическим собором и надгробьем Александра Стюарта, графа Бухана. Крышка гроба, по средневековому обычаю, представляет собой статую графа в рыцарских доспехах. В Сент-Эндрю она осмотрела развалины средневекового замка. Побывала она и в Перте, где во дворце Скун хранился камень судьбы, на котором короновались шотландские короли, в церкви Сент-Джон проповедовал некогда Джон Нокс – неистовый основоположник шотландской реформации – и жил Роберт Бернс, прославленный шотландский поэт, воспевший французское «дерево свободы», которое мечтал пересадить на шотландскую почву и был уверен, что придет время, «когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте». Вероятно, она бывала и в Монтрозе – Шотландской Венеции, названной так

из-за пронизывающего город эстуария реки Эск, образующей огромный разлив у стен. Видела скалу Голова Дьявола и замок Даннотар на побережье близ Данди.

Возможно, она побывала и на Оркнейских островах, что позволило ей позже оставить в тексте «Франкенштейна» яркое описание этих суровых мест. «... Я пересек северное плоскогорье и выбрал для работы один из дальних Оркнейских островов, – рассказывает главный герой романа. – Это было подходящее место для подобного дела – высокий утес, о который постоянно бьют волны. Почва там бесплодна и родит только траву для нескольких жалких коров да овес для жителей, которых насчитывается всего пять; изможденные тощие тела наглядно говорят об их жизни. Овощи и хлеб, когда они позволяют себе подобную роскошь, и даже свежую воду приходится доставлять с большого острова, лежащего на удалении пяти миль.

На всем острове было лишь три жалких хижины; одна из них пустовала, когда я прибыл. Эту хижину я и снял. В ней было всего две комнаты, и она являла чрезвычайно убогий вид. Соломенная крыша провалилась, стены были не оштукатурены, а дверь сорвана с петель. Я распорядился починить хижину, купил кое-какую обстановку и вступил во владение; эти обстоятельства должны были, безусловно, удивить здешних обитателей, если бы все их мысли не были притуплены жалкой бедностью. Как бы то ни было, я жил, не опасаясь любопытных взглядов и помех и едва получая благодарность за пищу и одежду, которые раздавал, – до такой степени лишения заглушают в людях простейшие чувства».

* * *

Но вскоре в судьбах обеих девушек наступила резкая перемена. Умерла самая старшая замужняя сестра Изабеллы, Маргарет, и вдовец, 48-летний Дэвид Бусс, приехавший в дом Бакстеров, посватался к Изабелле. Некоторые биографы Мэри Годвин считают, что сначала он остановил свой выбор на ней и даже ездил в Лондон просить ее руки у Годвина, но, получив отказ – вероятно, потому, что Годвин считал Мэри слишком юной для замужества, – окончательно остановился на свояченице. Так это или нет, точно не известно, но в марте Изабелла была помолвлена с Джоном, а Мэри вернулась в Лондон. Исследователи считают, что ни Бакстеры, ни Джон не были настолько состоятельны, чтобы речь могла идти о каких-то меркантильных соображениях. Бакстеры к тому же сильно рисковали, заключая эту помолвку: несмотря на то, что браки с несколькими братьями и сестрами описаны в Библии, гласситы их не одобряли. Они считали, что сестра жены становится сестрой мужу, и союз между ними невозможен. Бакстеры оказались под угрозой исключения из общины. К счастью, гласситы из Данди были достаточно благоразумны, чтобы закрыть глаза на этот грех, и Изабелла впоследствии стала почтенной шотландской матроной.

Слеток

Итак, в марте Мэри возвращается в Лондон, а в мае возобновляет знакомство с Шелли. Он помогает ее отцу в его издательских проектах советами, а главное – деньгами, и часто бывает дома у Годвинов. Влечение Перси и Мэри взаимно, и события развиваются стремительно. 27 июня Мэри приводит Шелли на могилу своей матери на кладбище рядом с церковью Сент-Панкрас, и там они признаются друг другу в любви.

Мэри, вдохновленная романтической историей своей подруги Изабеллы, очень решительна и не испытывает сомнений. Позже Шелли напишет другу: «С самого начала меня снедало страстное желание завладеть этим бесценным сокровищем. Но чувство мое к ней, в природе которого я сам себе не признавал, принимало разные обличья. Я пробовал не признаваться в нем и Мэри, но напрасно. Я колебался, ни на что не мог решиться, мне было страшно преступить лежащий на мне долг, и я не в силах был понять, что есть граница между злом и сумасшествием, при коем жертва превращается в идиотическое расточительство. Но разум Мэри освещен был духом, который видит правду, – она не оскорбила моих чувств каким-либо пошлейшим предрассудком, который мог бы омрачить их чистоту и святость. Не передать словами, какой она была, когда развеивала все мои сомнения, и в еще более высокую минуту, когда вручила себя мне, давно ей втайне принадлежавшему. Изобразить это не в силах человеческих, довольно лишь сказать, что, будучи мне другом, ты можешь за меня порадоваться, ибо она моя – я обладаю неотъемлемым сокровищем, которое искал и наконец обрел».



Дом (слева) в Самерстауне (Лондон), в котором родилась и провела первые годы жизни Мэри Шелли. Художник – Джозеф Свейн. 1850 г.

28 июля в четыре часа утра Шелли в нанятой карете подъезжает к дому Годвина. Мэри тайком спускается к нему, влюбленные обнимаются. Мэри говорит, что должна вернуться и кое-что захватить. Она уходит, и Шелли проводит едва ли не самые мучительные пятнадцать минут в своей жизни. «Я ощущал, что мы рискуем жизнью и надеждой», – позже напишет он. Но вот Мэри возвращается, на этот раз ее сопровождает Джейн. Оказывается, ей тоже не хочется оставаться в родительском доме. На споры нет времени, Шелли согласен на все, если этого хочет Мэри. Беглецы садятся в экипаж и спешат прочь из Лондона по дуврской дороге.

Вероятно, Гарриет, беременная вторым ребенком, узнав о бегстве Шелли, впала в отчаяние. В доме Годвина тоже смятение. Уильям, припомнив то, что сам писал в воспоминаниях о Мэри Уолстонкрафт, быстро примиряется с безрассудством влюбленных. Это их жизнь, они сделали свой выбор. Мэри оставила ему знак, прихватив с собой первый роман матери и томик ее писем из Скандинавии. Он, конечно, огорчен побегом и не желает видеть блудную дочь еще некоторое время, но он, по крайней мере, не пытается ее остановить. А вот миссис Годвин отправляется в погоню.

Преследовательница настигла беглецов, когда они переправились через пролив и остановились в гостинице в Кале. Судьба Мэри ей более или менее безразлична, но она полночи увещевает свою дочь, Джейн, настаивая, чтобы та вернулась домой. Джейн настроена решительно, и миссис Годвин уезжает ни с чем.

* * *

Шесть недель романтическое трио колесит по Европе. Они гуляют по Тюильри, посещают Лувр, собор Парижской Богоматери, покупают осла и путешествуют по сельской Франции, меняют осла на мула, мула на экипаж, «уподобившись простофиле из сказки, который на каждой сделке теряет половину», – комментирует Перси. Добираются до Люцерна, затем до «золотого» Майнца, плывут по Рейну в Кельн, любят кельнский собором и десятками старинных церквей. В дороге Мэри читает роман «Мэри», написанный Мэри Уолстонкрафт, и понимает, что ее мать ставила на первое место любовь и на одно из последних – брак. Шелли читает «Письма из Норвегии» и убеждается, что чувствительное сердце и ясный ум Мэри унаследовала от матери. Шелли начинает писать роман «Ассасины» – утопию о секте христиан-гностиков, достигших совершенного общественного устройства и всеобщей справедливости. Мэри пишет повесть под названием «Ненависть» – к сожалению, ни малейшего намека на ее содержание исследователям найти не удалось.

Лишь два обстоятельства смущают покой влюбленных: постоянное безденежье и назойливое присутствие «дуэньи» Джейн Клермон. Она делает недвусмысленные авансы Шелли, намекает на «жизнь втроем», но влюбленность Шелли достаточно традиционна и всеобъемлюща, ему не нужна еще одна женщина в их с Мэри постели. Мэри, в свою очередь, по свидетельству Шелли, «выказывает особое равнодушие ко всем грядущим горестям. Она ощущает, что одной нашей любви довольно, чтобы противостоять всем бедствиям, которые готовы развиться. Она покоится в моих объятиях и, кажется, почти утратила потребность в пище, необходимой для поддержания жизни».

Но вот, шесть недель спустя, путешественники высаживаются на побережье Англии. Их медовый месяц закончился, началась реальная жизнь.

Закрытые двери

И для начала им нечем заплатить капитану корабля, который привез их в Англию. С трудом уговорив его поверить им в долг – у бедняги просто не было выбора, – они отправились в Лондон. Шелли навещает беременную Гарриет и выпрашивает деньги у нее. Он расплачивается с капитаном, и троица поселяется в гостинице.

Годвин не спешит раскрывать объятия перед беглянкой, возможно, желая, чтобы она в полной мере оценила, к каким последствиям приведет ее поступок. Старые друзья Мэри тоже не ищут общества девушки, сбежавшей с женатым человеком. Когда она написала Изабелле Бакстер, то получила суровую отповедь от ее жениха с просьбой больше никогда не писать в Шотландию. Она общается только с Джейн и некоторыми друзьями Шелли. По-видимому, вынужденная разлука с отцом сильно ее огорчает, и когда ей приходится расстаться и с Шелли, она впадает в уныние. «Обними крепче свою Мэри, – пишет она возлюбленному. – Возможно, она когда-нибудь и обретет отца, а до тех пор ты для меня – весь мир, любимый мой. И я буду примерной, и никогда больше не буду огорчать тебя, и буду учить греческий. Но лучше я тебе скажу это при встрече, и ты так щедро наградишь меня».

Но встречаться стало очень трудно. За Шелли по пятам идут кредиторы, ему грозит долговая тюрьма, он вынужден скрываться и путать следы, как заяц. Мэри видится с ним тайком, словно служанка, которая бежит на свидания с лакеем. В своих стихах Шелли жалуется на то, что ночь разлучает влюбленных, когда, напротив, должна соединять и не мешать «друг друга чувствовать дыханье».

Кому-то это может показаться романтическим и пикантным, но любовь Шелли и Мэри и так сильна, она не нуждается в дополнительном топливе, разлука их обжигает, и оба мечутся, стараясь унять боль. Проходят мучительные недели, полные страха и тоски. Облегчение наступает только перед Рождеством, когда умирает дед Шелли и по его завещанию молодой человек получает содержание. Правда, часть денег он должен отдавать Гарриет, да и оформление бумаг занимает почти полгода, но это уже свет в конце тоннеля. Теперь, зная о наследстве, Шелли охотно дают в долг и предоставляют отсрочки.

30 ноября Гарриет рождает сына Чарльза. Мэри, которая сама в это время была беременна, эта новость не могла не взволновать. Финансовые затруднения Шелли касаются и Гарриет, и вот уже она приходит к нему в дом с ребенком на руках просить денег. Шелли предлагает радикальный выход: они втроем поселяются в Швейцарии. Но Гарриет эта идея совсем не кажется соблазнительной. «Странное существо», – замечает по этому поводу Мэри.

* * *

Но гораздо больше, чем Гарриет, Мэри беспокоит Джейн, недавно поступившая на лондонскую сцену под именем Клер Клермонт. Ее небольшие заработки поддерживали семью на плаву, но ее претензии росли не по дням, а по часам. Еще в октябре она повадилась приходиться по ночам в спальню влюбленных и рассказывать в ужасе, что кто-то коснулся ее подушки, – она была уверена, что это Шелли. Он откликнулся на эти неумелые заигрывания и по полночи беседовал с Джейн «о сверхъестественном», чем доводил ее до истерических припадков, когда она «извивалась на полу» и билась в конвульсиях, а Шелли на следующий день не без самодовольства записывал в своем дневнике, что Джейн разглядела на его лице «соединение скорби с сознанием беспредельной власти над ее душой». Джейн можно понять: очень трудно быть свидетелем большой любви и сознавать, что ты не имеешь к ней отношения, что можешь рассчитывать лишь на вежливое внимание, да и то не всегда. Сбежав из дома, Джейн, как и Мэри, вычеркнула себя из приличного общества, получила ярлык «падшей», перед ней тоже закры-

лись все двери, но судьба ничем не вознаградила ее за эту жертву. Мэри и Шелли просто не могут выставить ее из дома: куда она пойдет? Но и утешить ее в ее одиночестве и в сознании, что она никому не нужна, они тоже не могут.

Известие о беременности Мэри заставляет Джейн поумерить пыл. Но когда Мэри не смогла носить корсет и, как порядочная английская женщина, на три последних месяца перед родами заперлась в доме, Джейн стала сопровождать Шелли во всех его выходах, что возродило ее надежды на большую близость и встревожило Мэри. «Мне очень нездоровится, – записывает она в дневнике. – Шелли и Клер ушли и побывают в куче мест... Прибыло письмо от Гарриет... выдержанное в духе «брошенной жены», там говорится, что ребенку уже исполнилась неделя». Чтобы пробудить в Шелли ревность и «наказать» его, она пытается флиртовать с Томасом Хоггом – другом Шелли, который часто навещает их. Результат получается неожиданным. Хогг не на шутку увлекся беременной женой друга, для Шелли дружба с Хоггом оказалась очень дорога – тот, кроме всего прочего, регулярно выручал Шелли из финансовых затруднений, – и, не желая огорчать приятеля, прогрессивный поэт предложил испытанный рецепт: «Давайте жить втроем!» Кажется, *ménage à trois* был одним из самых модных, как это называли бы сейчас, «трендов» на рубеже веков. Но Мэри, вовсе не желавшая такого исхода, сразу же пошла на попятный и обратила все если не в шутку, то в некую идеальную дружбу, в которой нет и намека на плотские радости. «Я знаю, как сильна и нежна ваша любовь ко мне, и мысль, что я могу составить ваше счастье, мне приятна, – пишет она Хоггу. – Давайте дожидаться радости и упоения лета, когда зазеленеют кроны и весело и ярко засияет солнце, и у меня, любезный Хогг, будет мой маленький ребенок – в каких изящных развлечениях мы будем проводить все дни! И знаете ли что? Я буду брать у вас уроки итальянского, а сколько книг мы прочитаем вместе! Но наша главная отрада будет Шелли». И, чтобы у Хогга не оставалось ни малейших сомнений в том, на что он может рассчитывать, она подписывает это письмо так: «Я, любящая его так нежно и так безоглядно, что от одного его взгляда зависит вся моя жизнь, ему принадлежу я всей душой».

И то сказать, на седьмом месяце беременности, холодной и промозглой английской зимой, измученная недомоганиями и тревогами, испытывающая постоянный недостаток в деньгах, Мэри вряд ли могла почувствовать сильное телесное влечение к кому-нибудь.

Одна короткая жизнь

22 февраля 1815 года Мэри родила недоношенную семимесячную дочь. Малютку назвали Кларой. Она прожила всего две недели и умерла во сне.

Мэри раз за разом переживала случившееся, ища ответы на неразрешимые вопросы: почему? За что? Она писала Томасу Хоггу: «Мой милый Хогг, моя крошка умерла. Придете ли вы сюда, как только сможете? Я хочу вас видеть. Она была совсем здорова, когда я леглась спать. Ночью я поднялась покормить ее, но сон ее был так глубок, что я не решилась будить ее. Как поняла я утром, она была уже мертва тогда. Похоже, она скончалась от судорог. Придете ли вы? От вас веет спокойствием. Шелли боится, что у меня начнется лихорадка из-за прилива молока – ведь я больше не мать».

Ей снится, что Клара просто замерзла. Они с Шелли отогрели ее у очага, и она ожила. После таких снов просыпаться особенно больно.

Чтобы дать Мэри новые впечатления и помочь ей исцелиться от тоски, Шелли везет свою подругу в Бристоль. Шумный промышленный город, один из крупнейших портов Великобритании, прозванный «столицей запада», пробудил Мэри от оцепенения, заставил кровь быстрее бежать по жилам. На его причалах еще сохранился аромат дальних странствий и приключений, аромат рома и табака, привозимых из-за моря. Но улицы Бристоля помнят и о величайшей несправедливости и горе: сюда свободолюбивые англичане привозили чернокожих рабов из колоний. Сотни и тысячи матерей-негритянок оплакивали здесь своих детей: вырванных у них из рук, замученных пытками, умерших в ужасных условиях от голода. Ветер, налетевший с моря, заставляет скрипеть снасти, крикливые торговки на площадях предлагают рыбу, и даже голоса детей, играющих на мостовых, больше не заставляют Мэри погружаться в скорбь. Ее горе словно растворяется в вечном круговороте жизни. Шелли вынужден уехать в Лондон, Мэри тоскует, волнуется, чувствует, что способна снова страдать – а значит, снова жить и надеяться. Шелли пытается наладить отношения между ней и Годвином, но старый отец еще не готов простить влюбленных, чье безрассудство принесло столько горя и им самим, и окружающим.

Потом они поселяются в местечке Бишопсгейт, неподалеку от Виндзора. Совсем рядом течет великосветская жизнь, здесь Виндзорский замок – старейшая резиденция английских королей, здесь Аскот, где ежегодно в июне проводятся знаменитые скачки, на которых дамы стараются перещеголять друг друга элегантностью шляп, здесь Итон-колледж, где набирается ума золотая молодежь, будущие повелители империи. Но в Бишопсгейте царит поистине пасторальная атмосфера. Мэри наслаждается долгожданным покоем и уединением и снова ощущает признаки беременности. Клер в Лондоне покоряет Друри-Лейн и знакомится с Байроном.

В Бишопсгейте Шелли пишет поэму «Аластор». По словам его биографа Даудена, «это есть, в самом глубоком смысле, оправдание любви человеческой – той любви, которой сам он искал и нашел... Эта поэма есть чудно-вдохновенное воспоминание пережитого им за прошедший год – в ней его думы о любви и смерти, его впечатления от природы, навеянные швейцарскими горами и озерами, излучистой Рейсой, скалистыми ущельями Рейна и осенним великолепием Виндзорского леса».

К сожалению, Мэри предстоит потерять еще двух младенцев, пережить выкидыш, и лишь ее четвертый ребенок – сын Перси – переживет и отца, и мать и продолжит род Шелли.

Трое мужчин, две женщины, два младенца

27-летний Джордж Гордон Байрон, унаследовавший титул барона в десятилетнем возрасте после смерти двоюродного деда Джорджа, уже успел обрести скандальную славу. Эпатировать публику ему удавалось так же естественно и непринужденно, как обольщать женщин и писать прекрасные стихи, и всем трем своим талантам он отдавался со страстью. Его предки возводили свой род к древним нормандцам, пришедшим в Англию с Вильгельмом Завоевателем. Был в роду один славный адмирал по прозвищу Джек Дурная Погода – родной дед будущего поэта, не очень везучий, но чрезвычайно деятельный, прославившийся своими путешествиями по Тихому океану, но были и гуляки, пьяницы и даже убийцы. К числу убийц относился и тот самый двоюродный дед, прозванный «дурным лордом Байроном», и отец поэта, капитан Джон. От первого брака он имел дочь Августу. Во втором, с богатой шотландкой Екатериной Гордон, у него родился сын Джордж, которому он дал второе имя по фамилии матери. С этим именем Джон проделывал интересные штуки. Когда он хотел подчеркнуть родство со знатными шотландцами, он писал его так: Джордж Гордон-Байрон, превращая его в фамилию. Именно под такой двойной фамилией юный Джордж и был записан в частную школу в Абердине.

Но фокусы с фамилией не помогли Джону. К моменту рождения сына он промотал большую часть состояния своей второй жены, а остатки она спустила в Европе. Она вовсе не была безмолвной страдальницей, терпящей безумства мужа, напротив, современники описывают ее как «женщину необузданного характера». Свое раннее детство Байрон провел с ней в Шотландии, где они жили в крайней бедности. Позже вместе с титулом юный Байрон унаследовал поместье Ньюстед, сильно запущенное, с полуразрушенным замком – бывшим католическим аббатством. Эти живописные развалины давали, тем не менее, кое-какой доход и позволяли свести концы с концами.

При таком «бэкграунде» немудрено, что мальчик вырос яростным циником, считавшим, что он ничем не обязан миру, а вот мир обязан ему всем. Что в сочетании с бесспорным талантом давало гремучую смесь.

Он начал «влюбляться» с десяти лет, но искренне любил, возможно, только свою единокровную сестру Августу, которую воспитывали родственники ее матери и с которой он встретился лишь в возрасте 14 лет (Августе было 17). После первой встречи он написал ей: «Помни о том, дорогая сестра, что ты самый близкий мне человек... на свете, не только благодаря узам крови, но и узам чувства». В написанных позже «Посланиях к Августе» и «Стансах к Августе» проскальзывает чувство, которое нельзя назвать иначе как благоговением. Августа неудачно вышла замуж: по большой любви, за такого же кутилу и мота, каким был ее отец. Байрон, возможно, желая подчеркнуть, что его сердце задеть нельзя, писал ей: «Любовь, по моему мнению, совершенный абсурд, это только жаргон комплиментов, сдобренных романтизмом и искусственностью... Если бы у меня было пятнадцать любовниц, я через неделю не помнил бы ни одной».



Портрет Джона Гордона Байрона.
Художник – Ричард Весталл. 1813 г.

В это время Байрон поступил в Кембридж, но не для того, чтобы учиться, а чтобы весело провести молодые годы. Впрочем, те же мотивы побудили к поступлению большинство студентов-аристократов. Буйные увеселения молодежи были в порядке вещей, почтенные профессора смотрели на такое сквозь пальцы. Но Байрон превзошел все их ожидания! Достаточно сказать, что он держал в своей комнате ручного медведя – и студенты до сих пор в доказательство этого показывают следы от когтей на стенах. В большом почете в Кембридже были и остаются спортивные успехи, и тут Байрон, страдавший с детства хромотой, сумел показать себя. Он был в числе первых во всех важных для Кембриджа дисциплинах: гребле, верховой езде, стрельбе и плаванию.



Августа Мария Ли (1783–1851) – дочь Джона Байрона, единокровная сестра лорда Байрона, с которой последний предположительно состоял в кровосмесительной связи.

Художник— Джеймс Холмс. 1800-е гг.

После Кембриджа Байрон с другом отправились в «образовательное путешествие» по Европе и побывали в Испании, Португалии, Албании, Греции, на Мальте и в Турции, где Байрон переплыл Дарданеллы, чем позже очень гордился. Из путешествия он привез поэму «Паломничество Чайльд-Гарольда». Вышедшие до этого два сборника стихов не сделали его известным, и, чтобы «преломить тенденцию», Байрон устроил великолепный «перформанс» своему новому произведению. 27 февраля 1812 года в палате лордов обсуждался антилуддитский¹ закон, приговаривающий к смерти тех рабочих, которые сознательно повреждали машины хозяев, лишавшие их работы и куска хлеба. На этом заседании Байрон произнес свою первую речь, имевшую большой успех. «Разве мало крови бунтарей на вашем уголовном кодексе, что надо проливать ее еще, чтобы она вопияла к небу и свидетельствовала против вас? – спрашивал он. – Когда человек в смерти видит облегчение, и это, по-видимому, единственное облегчение, которое вы можете ему предложить, можно ли угрозами привести его к покорности?» Через два дня после этого вышла поэма, а наутро Байрон «проснулся знаменитым». Кстати, это именно его фраза. Когда его спрашивали о причинах успеха «Чайльд-Гарольда», он отвечал: «Я просто проснулся знаменитым».

На самом деле Байрон чутко уловил потребность, возникшую в среде образованных людей – отделиться от стремительно «обуржуазившегося» общества, от мира рациональности и наживы, сохранить верность старым идеалам, и главное – сделать это красиво. Его Чайльд-Гарольд глубоко разочарован в британском обществе, но, попав в страны, которые борются за независимость, – в Испанию и Грецию, он остается сторонним наблюдателем. Байронический герой, байроническая личность мгновенно стала модной «маской», под которой можно спрятать даже более чем заурядный ум и способности, вооружившись лозунгом «миру не дано меня понять». Через двадцать лет добросердечный юноша и бездарный поэт Ленский будет носить «кудри черные до плеч» в знак вольнодумства, а Татьяна Ларина будет спрашивать себя, кто же ее возлюбленный:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес...

Сравните фразу Джейн, сказанную о Шелли; такие прыжки из рая в ад и обратно были характерны для романтической традиции.

Но Татьяна продолжает:

Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Но пока, в начале XIX века, байронический герой на подъеме. Он всех интересуется, ему все хотят подражать.

* * *

За «Чайльд-Гарольдом» последовали «Восточные поэмы»: «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа», «Паризина», в которых Байрон закрепил «тренд» героя-мятежника, крайнего индивидуалиста, одинокого, враждебного всему миру и тем неотразимо привлекательного для женщин. Им казалось, что, влюбившись в бунтаря, они сами становятся бунтарками, но при этом снимают с себя всю ответственность за нарушение запретов: ведь они это сделали ради любви!

Августа Ли, разочарованная своим браком, приезжает к Байрону, они много и тесно общаются, он пишет ей страстные стихи. Появляется младенец – девочка, названная Медорой по имени одной из героинь поэм Байрона. По Лондону ползут слухи о кровосмесительной связи брата и сестры. Их распускает покинутая любовница Байрона Каролина Лэм. На самом деле историки до сих пор не могут решить, кто были настоящие родители Медоры. Отцом, вероятно, следует признать Байрона, но матерью могла стать как Августа Ли, так и еще одна из возлюбленных поэта – Мэри Чаворт.

В довершение всего Байрон решает вступить в законный брак. Невесту ему подбирает леди Мельбурн – свекровь Каролины Лэм; светский круг удивительно тесен. Ею оказывается ее племянница Анабелла Милбэнк, которая 10 декабря 1815 рождает Байрону дочь Августу Аду. Эта Ада, в замужестве Лавлейс, позже станет известна как первая в истории женщина-программист, работавшая вместе с Чарльзом Бэббиджем и написавшая первую программу для его «дифференциальной машины». Но пока, едва оправившись от родов, молодая жена с младенцем на руках покидает дом Байрона в Лондоне и уезжает к родителям в Лестершир. Она категорически отказывается сообщить причины разрыва с мужем, но уверяет, что если бы они стали известны, то никто не осудил бы ее. Байрон в ответ на эти завуалированные обвинения бросил только, что причины развода «слишком просты, и потому их не замечают».

* * *

Весь свет обсуждает распавшийся брак. При этом Байрон не отказывает себе ни в пылких ласках леди Каролины Лэм, ни в более рассудочной любви-дружбе графини Оксфордской, ни в бесхитростной симпатии начинающей актрисы Клер Клермон. Он познакомился с ней, когда был членом подкомитета правления театра «Друри-Лейн», и помог выйти на сцену.

Возможно, Клер полагала, что нашла «своего Шелли». В таком случае она очень ошибалась. Шелли, при всем его легкомыслии и «широте взглядов», граничащей с безрассудством, сердцем был неизменно верен своей Мэри. Байрон же просто не понимал, что такое верность. Но, возможно, Клер не обманывалась, а на свой лад выражала благодарность за протекцию, да еще и хотела, чтобы ее любили, пусть не сильно и не долго.

Во всяком случае, когда 25 апреля 1816 года Байрон, Шелли, Мэри Годвин и Клер Клермон отправились в Швейцарию, Клер была беременна.

Их сопровождали еще двое мужчин. Первым из них был трехмесячный сын Мэри Перси Уильям. Вторым – Джон Полидори, личный врач Байрона, автор диссертации по лунатизму.

Этой компании предстояло стать участниками одного из самых известных пари в мировой литературе. Пари, благодаря которому на свет появился новый жанр, ставший невероятно популярным в конце XX и начале XXI века. Речь идет о научной фантастике. Несмотря на то, что фантастика долгие годы считалась литературой, которую пишут мужчины о мужчинах и для мужчин, у ее истоков стояла женщина – Мэри Уолстонкрафт Годвин.

Знаменитое пари

Женевское озеро – более 500 квадратных километров удивительной кристально-чистой голубой воды, сверкающей в солнечные дни, темной и грозной во время штормов, – уже в те века привлекало взоры туристов, особенно англичан, воспитанных на стихах поэтов «Озерной школы». Вся та неброская прелесть, которую они находили в Озерном краю, здесь преображалась в ясно ощутимую силу стихии, в погожие дни внушавшей благоговение, а в бурю – ужас.

Вытянутое и изогнутое, как лезвие секиры, оно лежит в долине между горами, между Женевой на юго-западе и Монтре на северо-востоке – одним из первых курортов на востоке. Неподалеку от Женевы находится небольшой швейцарский город Колоньи, а в его окрестностях на берегу озера – вилла Бель Рив, прозванная Байроном виллой Диодати, по фамилии семьи, у которой он ее арендовал. Это небольшое уютное трехэтажное здание с колоннадой, обрамляющей вход, и с длинным балконом, опоясывающим виллу на уровне второго этажа. Первыми здесь поселились Байрон и Полидори. В мае приехал Шелли вместе с женой, ребенком и Клер. Как всегда, находясь в стесненных обстоятельствах, они сняли скромный коттедж Мезон Шапюи, стоявший на самом берегу озера в нескольких минутах ходьбы от виллы Диодати. Байрон был рад увидеть друга-поэта, разделявшего его идеалы. Вероятно, гораздо меньше удовольствия ему доставила встреча с беременной Клер: он терпеть не мог «сцен», а Клер, как нам известно, была большая мастерица их устраивать. Мэри радовалась за Шелли, которому теперь будет с кем поговорить, но тревожилась за подругу и за малютку Уильяма. Но величавое спокойствие Женевского озера не могло не укрепить столь чувствительную к красоте душу. Как позже она напишет, это были «счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находящими отклика в сердце».

Компания недолго наслаждалась хорошей погодой. Лето в горах переменчиво – в июне зарядили дожди. Друзья проводят дни на вилле Диодати. Байрон пишет третью часть «Паломничества Чайльд-Гарольда», по дороге в Швейцарию он побывал на поле Ватерлоо, и мирный пейзаж навевал мрачные мысли. Здесь погибла последняя армия Наполеона, здесь посредственность одолела гения, здесь наутро победители-англичане жарили бифштексы на кирасах побежденных, здесь, как скажет он в «Чайльд-Гарольде», «мир на самом страшном из полей с победой получил лишь новых королей». Разочарование, наполняющее «Чайльд-Гарольда», приобретает особую остроту в стихотворении «Тьма», где он описывает апокалипсис, гибель мира и человечества. Но в то же время его стихотворение «Прометей» исполнено надежды. Он воспекает великую жертву титана, который из жалости к человечеству похитил для него огонь у Зевса и был осужден на страшные муки. Но его поступок – пример для человека, который тоже может, «бессмертной твердостью дыша... в глубинах самых горьких мук, себе награду обретать, торжествовать и презирать, и Смерть в Победу обращать».

Шелли пишет «Гимн интеллектуальной красоте», в котором воспекает «грозной силы тайный ток», заставляющий поэтов служить красоте, скрытой «в глубине любимых глаз». Мэри нянчит сына, изучает итальянский, читает Тассо. Клер то восторгается Байроном, то дует на него.

По вечерам они собираются в гостиной виллы Диодати и от нечего делать читают страшные рассказы о привидениях. Но вот книга закончилась, а дождь – нет. И Байрон, единодушно признанный лидером этой компании, произнес историческую фразу: «Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть!»

* * *

Двое поэтов быстро загораются этой идеей, но так же быстро и перегорают. Позже Байрон опубликует свою безымянную историю, которую современные исследователи называют по имени главного героя «Август Дарвел». Речь в ней идет о двух «байронических героях» – зрелом и молодом, которые путешествуют вместе, и старший умирает от таинственной слабости на древних развалинах храма Дианы, завещая младшему бросить переданное ему кольцо в воды соленой реки, что впадает в Элевсинскую бухту, бывшую некогда местом мистерий Деметры и Персефоны. После этого юноша, исполнивший обет, должен был увидеть нечто чудесное, но что именно – мы, к сожалению, никогда не узнаем.

Шелли оставил лишь короткий стихотворный отрывок – «Горсть его праха», о старухе, вызывающей призрак, и о детях, подсматривающих за ней. По свидетельству Мэри, эта история была «основана на воспоминаниях ранней юности».

Но двое литературных новичков – Джон Полидори и Мэри – оказались азартнее и упорнее и закончили свои сочинения.

* * *

У Полидори история получилась лишь со второй попытки. В первый раз он придумал некую даму, наказанную за излишнее любопытство тем, что ее голова превратилась в череп. Но бедняга, по словам Мэри, «не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в семейный склеп Капулетти – единственное подходящее для нее место». После этой неудачи он написал повесть в байроновском духе, о бледном и прекрасном незнакомце, лорде Ротвене, который «равнодушно взирал на веселье, его окружавшее, и, казалось, не мог разделять его» и в итоге оказался вампиром, выпившим кровь сначала из возлюбленной главного героя, а затем из его сестры. Был ли лорд Ротвен «списан» с самого Байрона? Вполне возможно.

Вдохновленный первым успехом, он начал роман «Эрнест Берчолд, или Современный Эдип». Оба произведения вышли в Лондоне и Париже в апреле 1819 года, причем «Вампир» приписывался авторству Байрона. Раздосадованные Байрон и Полидори выступили с опровержениями, и Байрон даже опубликовал своего «Августа Дарвела», чтобы доказать, что Полидори создал самостоятельное произведение. Эта история имела печальный конец: Полидори покончил в собой в мае 1721 года. Причины, толкнувшие его на этот поступок, остались неизвестными.

Медицина XIX века. Новые горизонты

Анатомирование трупов в XIX веке перестало быть запретным и балансировало на грани между наукой и искусством. Георгианские кавалеры и дамы могли любоваться искусно изготовленными препаратами, представлявшими собой скелеты с сохранившимися на них мышцами, которым были искусно приданы красивые позы. Это зрелище одновременно шокировало и возбуждало.

При этом «высокая медицина» все еще не отделилась от античной теории происхождения болезней от нарушения соотношения в организме четырех жидкостей – крови, лимфы, желчи и черной желчи, и от лечения этих нарушения путем кровопусканий и клистиров, а поэтому мало чем могла помочь больному, хотя легко могла обогатить врача.

Доступней, а главное, эффективней были народные средства: полоскания из шалфея и меда для лечения воспаления горла, крем из свиного сала, овсяной крупы, яичных желтков, меда и капли розовой воды для потрескавшейся кожи, еще один крем против цыпок – прыщиков и изъязвлений, появляющихся на коже от холода. Он состоит из яйца, оливкового масла, небольшого количества скипидара, уксуса, бренди и камфоры. Все ингредиенты легко было найти в доме или вокруг него.

Но всегда лучше предупредить болезнь, чем лечить ее. Заботливые хозяйки смазывали ботинки своих мужей и детей кремом из пчелиного воска, смолы и сала, чтобы те не промочили ноги в дождливые осенние или весенние дни. А сами мазали губы вишневым блеском из травы алканы, дающей вишневый цвет, оливкового масла, бараньего жира и очищенного воска.

Хотя услуги врача для бедняков были недоступны, они всегда могли обратиться к аптекарю, который за несколько пенсов продал был им чудодейственное снадобье. Но чтобы стать аптекарем, вовсе не требовалось специального образования. Аптеку мог открыть простой бакалейщик. Хорошо, если он знал народную медицину и использовал ее опыт в своих рецептах. Анис и подорожник помогали от кашля, мази со змеиным ядом – от ревматизма, а цинковая мазь – от угревой сыпи на коже. Такие же рекомендации можно получить и в наше время. Кору ивы, содержащую салициловую кислоту, применяли против боли. В XX веке ацетилсалициловая кислота стала продаваться под названием «аспирин».

Хотя такие народные средства были эффективны при решении мелких бытовых проблем, они пасовали перед серьезными болезнями.

Были и совершенно бессмысленные рецепты. Например, синяки лечили мазью из дождевых червей, кипяченных в масле, с добавлением вина. Этот рецепт был известен еще со времен средневековья и, вероятно, основывался на той идее, что «подобное лечится подобным». Дождевые черви по цвету похожи на синяки, значит, они должны помогать от синяков. Другое дело – пиявки, еще один старинный рецепт, пришедший из средневековья. Они вбрасывают в кровь антикоагулянты, чтобы она не сворачивалась и им было легче сосать. Начиная со Средних веков пиявок ставили при высоком давлении или при варикозной болезни, что вполне соответствует рекомендациям современной медицины. А вот назначение пиявок при лихорадке уже довольно сомнительно. Кому как повезет. Оно могло стимулировать кровотоки и защитные силы организма, но при чрезмерном увлечении, напротив, ослабляло его и приводило к печальным последствиям. Одно несомненно: пиявки стоили довольно дорого, их могли позволить себе только богачи. Зато аптекарь, которому удавалось найти надежный источник пиявок, процветал.

Аптекари пускали кровь и с помощью ланцета или скарификатора – устройства, делающего множество маленьких надрезов. Для того чтобы быстрее выпустить кровь до того, как она свернется, на место кровопускания ставили банки, которые «высасывали» кровь.



Кровопускание. Гравюра. Художник неизвестен. XVII в.

«Надежда действует лучше лекарств, прописанных врачами; все, что может поддерживать в людях бодрость духа, ценнее микстур и порошков»
(*Мэри Шелли*)

Не менее полезным, чем кровопускания, считалось опорожнение кишечника, его также весьма часто прописывали врачи еще со времен средневековья, когда их «ласково» называли «клизтирными трубками». В XIX веке врачи чаще назначали слабительные. Иногда это были лекарственные травы или просто вещества, действительно обладающие слабительным эффектом: лист сенны, молотый ревеня или мыльный порошок. Но от этого лечение не стало менее опасным. В ходу, например, были так называемые «вечные пилюли» из... сурьмы – довольно-таки ядовитого вещества. Пациент принимал ее, часть сурьмы всасывалась и оказывала свое воздействие на кишечник, усиливая его перистальтику. Благодаря этому яд выходил из организма и... пилюлю можно было помыть и использовать снова. Варварский метод лечения, во всех смыслах, хотя и экономичный.

Слабительные входили в состав панацей – лекарств от всех болезней, которые были очень распространены в XIX веке. Пилюли Бичема, пилюли Моррисона, пилюли Холлоуэя, «розовые пилюли доктора Уильямса для бледных людей» – чудо-лекарства наводнили рынок в XIX веке. Их состав был коммерческой тайной, но все их создатели как один сулили исцеление от всех болезней. Их владельцы зачастую не имели медицинского образования, но легко становились миллионерами. К счастью, большинство пилюль содержали довольно невинные вещества: лакрицу, сахар, карбонат калия.

Альтернативой была поездка на лечебные воды в Бат или на другой курорт. Воду пили, принимали ванны или холодный душ, делали влажные обертывания. А в промежутках между лечением можно было фланировать по улицам, флиртовать, танцевать на балах, – одним словом, отдыхать и душой, и телом. Или устраивать свою личную жизнь – кому как повезет.

Легочные заболевания были бичом Англии: сырость, плохие санитарные условия, в конце века загрязнение воздуха, – все это способствовало простудным заболеваниям. С кашлем боролись разными способами: настойками из целебных растений, пластырями из воска с ладаном, ингаляциями. Но если против кашля, вызванного банальной простудой, эти средства помогали, то от самого страшного бича эпохи – туберкулеза – средств не было.

Не все лекарства были безопасны. В косметические средства, которыми также с удовольствием торговали аптекари, тогда щедро добавляли мышьяк, придававший белизну коже, а многие лекарства – «от нервов», против болей, или против кашля – содержали опиум. Но поскольку фармацевтика еще не была развита настолько, чтобы изменять свойства химических веществ, «подстраивая» их под собственные потребности, они пользовались тем, что давала им природа, а на побочные действия закрывали глаза.

Лишь в 1868 году сдача специальных экзаменов стала обязательной для аптекарей, не имевших медицинского образования. По счастливой случайности в законе забыли упомянуть, что к экзамену допускаются только мужчины, и множество женщин получили возможность стать аптекарями, а значит – обрести финансовую независимость и более высокий социальный статус. Как правило, это были вдовы и дочери аптекарей, которые унаследовали их дело. Впрочем, на финансовую независимость вообще могли рассчитывать только вдовы и незамужние. Сколько бы ни зарабатывала замужняя женщина, все ее деньги принадлежали мужу.

* * *

И все же в XIX веке было сделано немало важных открытий. Одним из них был хинин, быстро ставший весьма действенным средством от малярии, столь распространенной в Индии и в Африке. Хинин, смешанный с минеральной водой, получил название «тоник». Если к нему прибавить еще и джин, получался коктейль, который одновременно лечил, согревал и веселил.

Во второй половине XIX века начали широко применять электротерапию. Электростимуляцию мышц назначали при болях в спине и при истерии. Если в первом случае лечение имело под собой научную основу, то во втором можно было рассчитывать разве что на эффект внушения.

Помните салициловую кислоту, которая содержалась в коре ивы? В конце века фармацевты научились получать ее химическим путем и стали делать таблетки от жара и болей, а также мази, помогающие при воспалениях. Аспирин с таблеток появился на рынке в 1899 году – настоящая заря новой эры!

* * *

Только в конце XIX – начале XX века медицина из смеси искусства и шарлатанства превратилась в науку. В этот период были сделаны величайшие открытия, которые дали медицине могучее оружие в борьбе с болезнями. Это наркоз, асептика с антисептикой и антибактериальные препараты.

В XIX веке английские физики и химики начали изучать влияние закиси азота на человеческий организм. Впервые закись азота была получена Джозефом Пристли в 1774 году, а в 1800 году ее свойства изучил Гемфри Дэви и назвал ее «веселящим газом». Закись азота вызывала легкую спутанность сознания и нарушение восприятия боли, что делало ее, в частности, перспективной для обезболивания родов и маленьких хирургических операций. К сожалению, первый опыт по обезболиванию удаления зуба прошел неудачно: закись азота не облегчила страдания больного, а вместо этого попала в аудиторию и вызвала приступы неудержимого смеха у присутствующих. Проводивший эксперимент Гораций Уэллс, не вынеся позора, покончил жизнь самоубийством. Но через несколько дней после его смерти медицинское общество в Париже признало за ним честь открытия анестезирующего вещества.

Альтернативой закиси азота стал эфирный наркоз, который предложили, также для удаления зубов, американский химик Чарльз Томас Джексон и зубной врач Уильям Томас Грин Мортон в 1846 году. Обеспечивая более глубокую потерю сознания, он позволял производить более длительные и сложные операции, что дало стимул к развитию хирургии.

Хирургу больше не было необходимости проводить операции «на время», соревнуясь с болевым шоком за жизнь пациента. Он мог обеспечить пациенту надежное обезболивание и не торопясь решать хирургические проблемы. Эффективным было сочетание общего наркоза и местного обезболивания. Именно так проводит пункцию перикарда молодому фермеру доктор Кларксон, воодушевляемый неугомонной миссис Кроули, которая видела, как подобные операции делал в городе ее муж.

Очень важной частью хирургии, как военной, так и мирной, было умение перевязывать больных, не допуская в рану инфекции из внешней среды. Впервые важность асептики, или недопущения возбудителей инфекций в рану, и антисептики, то есть уничтожения микробов, начали понимать также в конце XIX – начале XX века. В 1885 году немецкий хирург Эрнст фон Бергман вместе со своим учеником Шиммельбушем впервые применили обработку хирургического инструментария с помощью специально созданной паровой машины. В 1890 году они доложили об этом методе асептики на X Международном конгрессе врачей в Берлине.

Венгерский акушер Игнац Земмельвейс в 1847 году предложил обрабатывать руки врачей, помогающих роженицам, раствором хлорной извести, что мгновенно почти в 20 раз снизило смертность от родильной горячки, не щадившей прежде ни крестьянок, ни аристократок. Когда в 1863 году Луи Пастер доказал, что причиной гнилостных инфекций являются невидимые невооруженному глазу возбудители – микробы, врачи поняли, как следует бороться с раневыми инфекциями. Английский хирург Джозеф Листер предложил для борьбы с этими возбудителями карболовую кислоту, и с тех пор запах карболки надолго поселился в стенах больниц, даря надежду и пациентам, и врачам.

Таким образом, хирурги научились не допускать инфекции в рану. Однако не менее важным было научиться бороться с инфекцией, которая все же оказывалась в ранах или в организме человека. Но это случилось позже, в 1928 году, когда Александр Флеминг открыл пенициллин. В конце XIX века идея уничтожать микробы продуктами жизнедеятельности других микробов казалась еще слишком невероятной. Хотя Р. Эммерих и О. Лоу описали антибиотическое соединение, которое они называли пиоцианазой, еще в 1899 году.

«Франкенштейн, или Современный Прометей». Рождение замысла

«Я решила сочинить... такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад; чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце», – признается Мэри в предисловии. Но одно дело решить, а другое – написать. Сколько начинающих авторов останавливались на этом этапе – возможно, к лучшему? Но, к счастью для нас, Мэри пошла дальше. В разговоре Шелли и Полидори она уловила имя английского естествоиспытателя Эразма Дарвина, деда прославленного Чарльза Дарвина, и историю о том, как он, по словам Мэри, «будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться». «Я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме», – делает Мэри оговорку, и она права. Потому что Эразм на самом деле не проводил «ужасных опытов по оживлению вермишели», а только описал в своем трактате «Храм природы» наблюдения своего коллеги Джона Эллиса, согласно которым «в клейстере, состоящем из муки и воды, если дать ему закиснуть, в большом количестве наблюдаются микроскопические животные, называемые угрицами, их движения быстры и сильны, они живородящи и через известные промежутки времени производят на свет многочисленное потомство».

Это был отголосок древних споров о самозарождении жизни, сторонником которого оставались на протяжении веков множество естествоиспытателей и философов. В их число входил и Эразм Дарвин. Они считали, что жизнь не только появилась на Земле сама собой, без вмешательства Бога, но и что переход из неживой материи в живую происходит постоянно на наших глазах. Впоследствии развитие науки показало, что они ошибались, принимая за самозарождение стремительное размножение микробов и простейших на портящихся продуктах до такой степени, что они становились видимы в световые микроскопы XIX века. Современная эволюционная теория считает, что самозарождение жизни из неживой материи было возможно лишь при формировании планеты, когда условия на ней в корне отличались от тех, которые мы наблюдаем сейчас.

Но это не имеет отношения к сюжету романа, так как разговор в тот день шел, по свидетельству Полидори, о том, «можно ли считать человека всего лишь механизмом». Беседующие припомнили опыты Гальвани по воздействию электричества на мертвые тела. Как мы знаем сейчас, нервная система способна проводить электрические сигналы независимо от их источника, на чем, в частности, основан эффект электрического разряда, вновь «запускающего» сердце при реанимации. Опыты Гальвани давали естествоиспытателям надежду на то, что они когда-нибудь смогут воскрешать мертвых. Этот разговор взволновал Мэри, и ночью ей приснился кошмар.

* * *

«Глаза мои были закрыты, – рассказывает она, – но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинувшись некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно; ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставить самой себе;

что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей; он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будит его; он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавеси у его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами.

Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее как сейчас: комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу – к злополучному рассказу, который так долго не получался!

О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я в ту ночь!»

Идея поразила Мэри, как пресловутый электрический разряд. В тот же день она записала свое сновидение и представила его своим друзьям. Те сочли рассказ превосходным. Шелли заинтересовала судьба «безумного ученого»: кто он такой, как решился на подобный эксперимент и что случилось с ним дальше. Воодушевляемая мужем, Мэри садится за подробное изложение сюжета.

Тем временем погода налаживается, Байрон и Шелли отправляются в путешествие по горам, и у Мэри появляется время, чтобы отдалиться работе. Забегая немного вперед, скажем, что она закончит роман в мае следующего, 1817 года, то есть потратит на написание чуть меньше года, а издан он будет в июне 1818 года.

«Франкенштейн, или Современный Прометей». Сюжет

Действие романа начинается в Санкт-Петербурге, откуда некий английский путешественник, мистер Уолтон, отправляется к Северному полюсу, чтобы найти за «поясом льдов» страну вечного лета, «царство красоты и радости».

Пересекая Северный Ледовитый океан, моряки внезапно видят на ледяном поле «низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; в санях, управляя собаками, сидело существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами». После чего на дрейфующей льдине они находят человека, от которого убегало странное существо, – ученого Виктора Франкенштейна. Едва оправившись от усталости, Франкенштейн рассказывает Уолтону, что чудовище, а точнее, «the daemon», которого тот только что видел, – творение его рук. Франкенштейн, изучая химию, анатомию и физиологию, постиг тайну жизни, открыл «жизненное начало» и мечтал о создании бессмертных людей и о том, как «новая порода людей благословит меня как своего создателя, множество счастливых и совершенных существ будет мне обязано своим рождением». В качестве первого опыта он сшил чудовищного восьмифутового гиганта из частей мертвых тел и оживил его. Но тут же почувствовал жгучее раскаяние из-за того, что посягнул на прерогативу Бога, работа ему опротивела, и когда ночью «демон», после впечатляющего явления в спальню к своему «родителю», сбежал, Франкенштейн почувствовал лишь облегчение.

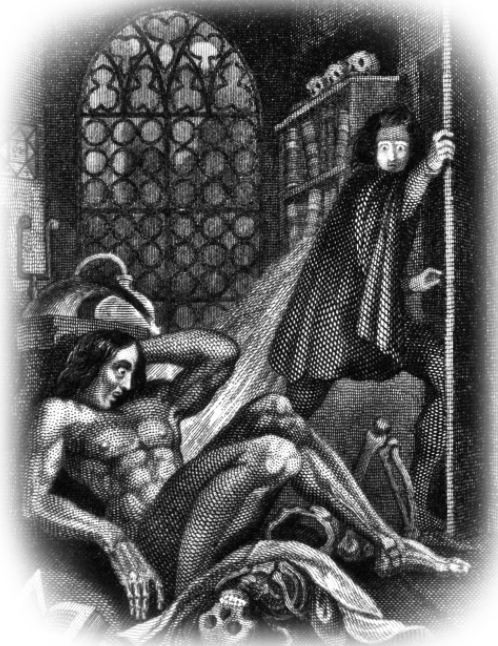
В убежавшем в лес «демоне» постепенно пробуждается сознание. Наблюдая за животными, он учится добывать пищу, скрываться, искать убежище от непогоды. Наблюдая за людьми, живущими на опушке леса, изучает язык и даже учится читать. Слушая их рассуждения, усваивает основы морали и добродетелей и мечтает подружиться с подобными себе существами и вместе с ними творить добро и красоту. Но люди в ужасе разбегаются, едва он пытается выйти и заговорить с ними. В «демоне» просыпается гнев на своего творца за то, что тот обрек его на вечное одиночество. Встретив в горах младшего брата Франкенштейна, «демон» убивает его. Затем он разыскивает самого Франкенштейна и требует, чтобы тот создал ему подругу, и обещает после этого удалиться в Южную Америку. Поначалу горячие просьбы «демона» трогают сердце Франкенштейна, и он обещает не оставить его без пары. Для этого он отправляется на Оркнейские острова, чтобы повторить сотворение. И снова ему приходят в голову мысли о новом бессмертном человечестве, но теперь эта перспектива его пугает. Он воображает, как в джунглях Амазонки парочка начнет размножаться, и орды восьмифутовых монстров сотрут человечество с лица земли. Чтобы избежать этой ужасной опасности, он уничтожает начатую работу.

Потрясенный его вероломством, «демон» разбушевался всерьез. Он убивает лучшего друга Франкенштейна, а позже – его невесту. Франкенштейн бросается за ним в погоню, чтобы навсегда уничтожить свое опасное творение, они пересекают Европу, Сибирь и теряются на просторах Ледовитого океана, где Франкенштейн и встречает Уолтона.

«По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну, – говорит он перед смертью. – Этого не будет – выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, каким был я сам, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставления, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливее того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов».

«Франкенштейн, или Современный Прометей». Смыслы

Некоторые литературоведы говорят, что Мэри Шелли не создала ничего оригинального. В самом деле, никто не скажет точно, кого считать основоположником английского романа ужасов, но такие романы появились на добрых полвека раньше того знаменитого вечера на Женевском озере.



Фронтиспис издания «Франкенштейн, или Современный Прометей» 1831 года

Разве я просил тебя, творец,
Меня создать из праха человеком?
Из мрака я ль просил меня извлечь?

(Джон Мильтон. «Потерянный рай».

Эпиграф к роману «Франкенштейн, или Современный Прометей»)

Один из первых «готических» романов, «Замок Отранто», написал уже известный нам Гораций Уолпол в 1767 году. По его словам, сюжет «Замка» он тоже увидел во сне. В предисловии к роману он пишет: «Ужас – главное орудие автора – ни на мгновение не дает рассказу стать вялым; притом ужасу так часто противопоставляется сострадание, что душу читателя попеременно захватывает то одно, то другое из этих могучих чувств». «Готические ужастики» писали и женщины: Клара Рив, Софья Ли, Анна Летиция Барбо. Но самой знаменитой «женщиной, напугавшей Англию», была, конечно, Анна Радклиф, опубликовавшая несколько эталонных «романов ужаса», которые в этот период были знакомы любому англичанину: «Сицилийский роман» (1790), «Лесной роман» (1791), «Удольфские тайны» (1794). Характерная черта романов Анны Радклиф – это то, что все тайны в конце получают материалистическое объяснение: например, таинственно исчезнувший из запертой комнаты персонаж на самом деле воспользовался подземным ходом.

В начале XIX века романы ужасов выходили пачками, «способы пугать» были сочтены и пронумерованы, ужас превратился в товар, скроенный по готовым лекалам. В середине XX

века исследователь готических романов Монтегю Саммерс даже опубликовал полушуточную таблицу, в которой можно было легко проследить смену эстетики от «классики» к «готике».

<i>Готика</i>	<i>Классика</i>
Замок	Дом или особняк
Пещера	Беседка
Стон	Вздых
Великан	Отец
Окровавленный кинжал	Веер
Завывания ветра	Нежный бриз
Рыцарь	Джентльмен без бакенбард
Леди, главная героиня	Никаких изменений: женщина всегда остается женщиной
Удар шпагой	Убийственный взгляд
Монах	Старый слуга
Кости, черепа	Комплименты, сантименты
Свеча	Лампа
Магическая книга с пятнами крови	Письмо, орошенное слезами
Загадочные голоса, шорохи	Редко употребляемые слова (обычно их выписывают из словаря)

Таинственный обет	Тонкий намек или ухаживание
Скользнувшее привидение	Адвокат или судья
Ведьма	Старая экономка
Рана	Поцелуй
Полночное убийство	Свадьба

С другой стороны, если бы Мэри захотела поискать предшественников в области фантастики, ей тоже было бы не на что опереться. Опять-таки, оценки литературоведов расходятся, но, кажется, первый фантастический роман в английской литературе написала еще в 1666 году тоже женщина: Маргарита, герцогиня Ньюкастельская. Он назывался «Описание нового мира, называемого «Сверкающим миром»», и рассказывал о юной девушке, плывшей на корабле и унесенной в заполярный мир сильнейшим морским штормом. В этом новом мире обитают разумные животные. Они избирают девушку королевой и готовы служить ей. «...Люди-медведи стали ее философами, – пишет Маргарет, – люди-птицы – астрономами, люди-попугаи – ораторами, люди-рыбы – естествоиспытателями, люди-обезьяны – химиками». С огромной армией разумных рыб, способных топить вражеские корабли, и птиц, готовых сбрасывать с высоты на головы врагов раскаленные камни, она возвращается в наш мир, помогает английскому королю одержать победу в войне с Голландией и превращает Англию в «абсолютную монархию всего мира». Хотя роман герцогини не был издан, сам факт, что она написала его, показывает, что у современного ей общества была тяга к подобным историям.

Мэри могла бы обратиться к опыту своего отца, написавшего в 1799 году роман «Сен-Леон» про средневекового аристократа, который получает бессмертие и тщетно пытается усовершенствовать род людской, терпя раз за разом крах. Один из исследователей «готического романа», профессор Девендра Варма, автор работы «Готическое пламя», относит «Сен-Леон» к «романам ужасов», так как для него «характерно обилие сцен насилия и потусторонних эффектов».

Либо Мэри могла подождать до осени того же 1816 года, когда Байрон во время своего второго путешествия по горам Швейцарии начнет писать поэму «Манфред» о чародее, бросающем вызов духам, паркам, Немезиде и самому «отцу зла» Ариману. Как мы видим, фантастика и ужасы были тесно связаны с самого начала своего существования.

Что же нового внесла Мэри Шелли в цветущий и обильно плодоносящий жанр? Почему мы называем «Франкенштейна» не только романом ужасов, но еще и первым научно-фанта-

стическим романом? Потому что впервые главным героем романа был ученый, а сюжетом – научный поиск, его последствия и та ответственность, которую несет автор открытия.

* * *

С описанием научных изысканий в первом научно-фантастическом романе дело обстоит не очень гладко. Получившая в соответствии с требованиями времени исключительно гуманитарное образование, Мэри в этих эпизодах отделяется скороговоркой: «Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло; свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться...» – вот и все, что мы можем узнать об изысканиях Виктора.

Отчасти роман отражает превращение страха перед магией в современный страх перед наукой: страх перед чем-то непонятным, во что человек не дает себе труда вникнуть и щедро проецирует на него свои представления о злом начале. Но Франкенштейн, хотя и раскаивается в своем дерзновении, остается «современным Прометеем»: даже на пороге смерти не теряет веры в силу человеческого разума и духа, в то, что только они могут вернуть человечеству достоинство и привести его к счастью.

Когда в конце романа на судне, затертом во льдах, назревает бунт и матросы требуют от капитана, чтобы он при первой возможности повернул домой, Франкенштейн обращается к своим невольным спутникам с возмущенной речью: «Чего вы хотите? Чего вы требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвлечь от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? А почему славной? Не потому, что путь ее обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов; потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стойкость и проявлять мужество; потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, а вы должны глядеть им в лицо и побеждать их. Вот почему это – славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода, ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоившихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу в опасности – бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы, к чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? – проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин и даже больше того: стойкость и непоколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца, он тает; он не устоит перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили и не привыкли поворачиваться к врагу спиной».

* * *

Мэри могла быть знакома с сюжетом «Фауста» из пьесы Марло, из пересказа еще одного автора «ужасиков», приятеля Байрона Мэтью Грегори Льюиса, прозванного «Монахом», так как он написал роман с тем же названием, или просто из кукольных представлений, виденных ею на лондонских улицах. Но ее Виктор Франкенштейн не слишком похож на Фауста, а «демон» – совсем не Мефистофель.

Впервые героем повести становится не могущественный маг и не падший дух, а молодой ученый, вчерашний восторженный студент, и, возможно, впервые трагедия приобретает

человеческое измерение. Оба они – и Франкенштейн, и его «чудовище» – прежде всего люди, которые стремятся к добру и приходят в ужас от зла, которое сотворили.

Зло в повести Полидори аристократично и гламурно. Зло в повести Мэри живет под крышами буржуазной Женевы, оно воплощено не только в «демоне», который «зол, потому что несчастен», не только в Викторе Франкенштейне, который зол, потому что любопытен, безответственен и обуреваем гордыней, но и в добрых женевах, отправляющих на эшафот невинную Жюстину Мориц. Это зло всеильно именно потому, что повседневно, буднично, происходит не столько из пороков, сколько из слабостей и непонимания. Франкенштейн Мэри Шелли, как и Прометей Байрона, хочет «несчастьям положить предел, чтоб разум осчастливил всех». Его беда в том, что он слишком слаб и невежествен для того, чтобы добиться своей цели. Он способен вдохнуть жизнь в мертвое тело, но не может принять на себя ответственность за свое свершение и в ужасе отвергает свое творение, которое обречено в одиночестве бродить по земле, все более озлобляясь. «Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия, – плачет «демон» в финале романа. – Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувства любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему мне искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив; а когда умру, все будут клясть самую память обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, о славе и счастье. Когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, какие я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления низвели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список моих злодеяний, я не могу поверить, что я – то самое существо, которое так восторженно поклонялось Красоте и Добру. Однако это так; падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже враг Бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок». Возможно, не случайно Мэри назвала в романе чудовище Франкенштейна не «demon» – собственно демон, дух зла, а «daemon» – старинное слово, которым в английской традиции обозначали воплощение человеческого дарования и судьбы, например «демон Сократа».

В любом случае прав был Шелли, когда писал: «Главным достоинством этого романа является способность вызывать сильные чувства». И если он и преувеличивал, то лишь самую малость, считая, что текст «Франкенштейна» «свидетельствует о силе интеллекта и воображения, которую, как, несомненно, признает читатель, мало кому удавалось превзойти».

Возвращение в Англию. Бат

Байрон решительно заявил, что не желает иметь дела с Клер, – тем и закончилась короткая, но такая плодотворная швейцарская идиллия.

В конце июля семья Шелли снялась с места. Сначала они отправились в Альпы, побывали в долине Шамони и посмотрели на гору Монблан и знаменитый ледник Мер-де-Глас – «Море льда». В романе «Франкенштейн» здесь происходит первая встреча Виктора и отыскавшего его «демона». И, перечитывая роман, мы словно мысленно следуем за семейством Шелли в этом путешествии.

Вот они пробираются верхом по ущелью реки Арвэ: «Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшейся по камням, грохот водопадов – все говорило о могуществе Всевышнего, и я забывал страх, я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всемогущего создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем прекраснее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших сосной; бурная Арвэ; хижинки, там и сям видные меж деревьев, – все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное великолепие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем, точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ».

Вот достигают долины Шамони: «Я переехал по мосту в Пелисье, где мне открылся вид на прорытое рекою ущелье, и стал подыматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамони... Ее тесно окружили высокие снежные горы; но здесь уже не увидишь старинных замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступали к самой дороге; я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружающих *aiguilles* высился царственный и великолепный Монблан; его исполинский купол господствовал над долиной».

Вот поднимаются по склону долины: «Склон горы очень крут, но тропа вьется спиралью, помогая одолеть крутизну. Кругом расстилается безлюдная и дикая местность. На каждом шагу встречаются следы зимних лавин: поверженные на землю деревья, то совсем расщепленные, то согнутые, опрокинутые на выступы скал или поваленные друг на друга. По мере восхождения тропа все чаще пересекается заснеженными промоинами, по которым то и дело скатываются камни. Особенно опасна одна из них: достаточно малейшего сотрясения воздуха, одного громко произнесенного слова, чтобы обрушиться гибель на говорящего. Сосны не отличаются здесь стройностью или пышностью; их мрачные силуэты еще больше подчеркивают суровость ландшафта. Я взглянул вниз, в долину; над потоком подымался туман; клубы его плотно окутывали соседние горы, скрывшие свои вершины в тучах; с темного неба лил дождь, завершая общее мрачное впечатление».

Вот подходят к самому леднику: «Я постоял у истоков Арвейрона, берущего начало от ледника, который медленно сползает с вершин, перегораживая долину. Передо мной высились крутые склоны гигантских гор; над головой нависала ледяная стена глетчера; вокруг были разбросаны обломки поверженных им сосен. Торжественное безмолвие этих тронных зал Природы нарушалось лишь шумом потока, а по временам – падением камня, грохотом снежной лавины или гулким треском скопившихся льдов, которые, подчиняясь каким-то особым законам, время от времени ломаются, точно хрупкие игрушки. Это великолепное зрелище давало мне величайшее утешение, какое я способен был воспринять».

* * *

Мэри, дочь двух писателей и теперь сама писатель, старалась использовать все яркие впечатления для своей книги. Например, имя Франкенштейна носил замок на Рейне близ Дармштадта, который они с Шелли посещали во время путешествия. Местные жители рассказывали легенду об одном из владельцев замка, Иоганне Конраде Диппеле Франкенштейнском – ученом, алхимике, враче и теологе, консультировавшем однажды русскую императрицу Екатерину I. Сейчас экскурсоводы говорят, что Иоганн пытался изобрести эликсир бессмертия и для этого совершал ужасные деяния: раскапывал могилы, вскрывал трупы, пытался соединить части тела и переместить душу из одного тела в другое при помощи воронки, шланга и смазки. Была ли эта легенда одним из источников вдохновения для Мэри или, наоборот, роман Мэри породил легенду, точно не известно.

В сентябре семейство вместе с Клер вернулось в Англию и поселилось в Бате, чтобы скрывать отставную любовницу Байрона от общества до самых родов. Мэри подумывает об уроках рисования, пишет «Франкенштейна», и, кроме того, она и Перси работают над книгой «История шестинедельной поездки по некоторым областям Франции, Швейцарии, Германии и Голландии с приложением писем, описывающих плаванье вокруг Женевского озера и ледника Шамони». Мэри очень радуют игры с подрастающим сыном, она находит красоту и прелесть во всем, что их окружает.

6 октября Перси записывает в дневнике: «Сегодня Мэри заглянула в дверь и позвала: «Иди скорее, посмотри, как кошка объедает розы. Она, наверное, превратится в женщину: отведавшее этих роз животное становится мужчиной или женщиной»».

А в это время единоутробная сестра Мэри в Лондоне подошла к границе отчаяния и готовится переступить ее.

Бедная Фанни

Фанни Имлей осенью 1816 года было двадцать два. До двенадцати лет она считала, что является дочерью Годвина, позже отчим открыл ей правду, но когда Кристина Бакстер гостила в доме у Годвинов, она думала, что 17-летняя Фанни все еще полагает, что она родная дочь. По-видимому, Фанни не хотела не только обсуждать, но даже вспоминать об этом вопросе. И немудрено: у Мэри был жив отец, у Джейн и Чарльза – мать, счастливчик Вильям обладал обоими родителями, и только Фанни осталась круглой сиротой, по сути, приемным ребенком.



Лондон XIX века. Художник – Луиза Райнер. 1850-е гг.

Джейн Мэри Годвин, как мы уже знаем, не отличалась тактичностью, и, вероятно, Фанни не раз приходилось слышать попреки. Разумеется, Годвин относился к ней как к родной дочери, но Фанни не могла не понимать, что он ищет в ней черты матери и не находит.

Пожалуй, разочарование Годвина воспринималось гораздо болезненнее, чем упреки его жены, так как его нельзя было обвинить в предвзятости и невнимании. Напротив, он внимательно следил за падчерицей, подмечал ее достоинства и недостатки, и тем грустнее для Фанни было сознавать, что ей нечем порадовать отчима.

«Собственная моя дочь весьма превосходит дарованиями свою старшую сестру Фанни, – писал он давным-давно своему другу. – Фанни спокойного, скромного, застенчивого нрава, но не без ленцы, что составляет ее самую большую слабость, однако она рассудительна, приметлива, с замечательно ясной и твердой памятью и склонностью судить самостоятельно, полагаясь на свои суждения. Фанни не назовешь красивой, но в целом она мила». Разумеется, Фанни не читала это письмо, но не могла не чувствовать отношения к ней значимого для нее человека.

«Спокойная, скромная, рассудительная и приметливая» Фанни пыталась после побега Мэри и Джейн подружиться с мачехой и стать незаменимой помощницей отцу. Служить его таланту – значит служить всему человечеству; она утешала себя этими мыслями. Бесприданница, да к тому же некрасивая, она понимала, что не может рассчитывать на чью-то романти-

ческую любовь, и все, что она когда-либо будет иметь, она должна заработать собственными руками. Увы! Годвин, лишенный практической жилки, постепенно разорялся, а Фанни была недостаточно предприимчива, чтобы самой найти источник дохода. Возможно, она досадовала на себя, вспоминая, что ее мать в ее возрасте обеспечивала своих братьев и сестер. Впрочем, у нее появился план: можно поехать в Ирландию, где ее тетки, те самые Эверина и Элизабет, когда-то получившие образование на деньги Мэри Уолстонкрафт, содержали школу. Конечно, жалование учительницы, да еще в Ирландии – это не бог весть что, но она по крайней мере не будет обузой и познакомится со своей родней по крови. Но увы – из этого ничего не получилось. После того как Мэри Уолстонкрафт стала «падшей» женщиной, родив внебрачного ребенка, сестры разорвали с ней все отношения и уж тем более не собирались открывать объятия самому «ребенку, зачатому во грехе».

В отчаянии Фанни писала Мэри: «Тебе известно своеобразие (если так можно выразиться) отцовского ума, и ты знаешь, что он не может сочинять, когда его одолевают денежные затруднения, и знаешь, что чрезвычайно важно для него и для остального человечества, чтобы он окончил свой роман, и разве не должны вы с Шелли сделать все, что в ваших силах, чтобы он избавлен был от лишнего мучения и тревоги?». Но Мэри мало чем могла ей помочь: финансовое положение Шелли было тоже не блестящим, а расходы на малыша и на беременную Клер росли с каждым днем. Мэри и Шелли послали Фанни подарок. Но ей нужно было гораздо больше!

Взяв часть денег, накопленных для поездки в Ирландию, она уехала подальше от дома, в Суонси – маленький городок в южном Уэльсе, знаменитый тем, что оттуда была проложена одна из первых железных дорог, там в 1807 году начали возить пассажиров в специальных вагонах на конной тяге. Возможно, Фанни, которая наверняка слышала обо всех технических новинках от Годвина или его гостей, полюбовалась этим необычным зрелищем: громоздкие вагоны с запряженными лошадьми, наполненные людьми, уместившимися повсюду: внутри, на подножках и на крыше, чинно катятся по ровным железным рельсам, и пассажиры совсем не страдают от тряски и ухабов. Возможно, она подумала о том, какие еще чудеса сулит будущее, и тут же одернула себя: ей оно не сулило больше ничего.

9 октября 1816 года Фанни сняла номер в гостинице, где написала предсмертную записку. «Я давно решила, что лучшее из всего мне доступного – это оборвать жизнь существа, несчастного с самого рождения, чьи дни были лишь цепью огорчений для тех, кто, не щадя здоровья, желал способствовать его благополучию. Возможно, что известие о моей кончине доставит вам страдание вначале, но скоро вам дано будет утешиться забвением того, что среди вас когда-то обреталось такое существо, как...» Она написала свое имя, потом тщательно зачеркнула его, приняла опиум и заснула навсегда, уходя из жизни так же, как и жила, – в одиночестве. Но теперь, по крайней мере, ей не нужно было думать о том, как прожить следующий день, о том, как задобрить людей, от которых она зависела, ее невозможно было обидеть или унижить, невозможно разрушить ее надежды. Фанни наконец взяла свою судьбу в свои руки.

История одной свадьбы

Общее горе вновь сблизило отца и дочь. «Не ездите в Суонси, – писал Годвин Мэри. – Не нарушай молчания мертвых, не делай ничего, чтобы сорвать покров, который она так заботилась набросить на случившееся... Не подвергай всех нас опасности выслушивать досужие вопросы, что для страдающей души есть худшее из испытаний. Чего страшусь я более всего, так это газет... Наша боль сильнее, чем душевное смятение. Бог весть, какими еще станут наши чувства».

В декабре пришел черед Шелли сожалеть о том, чего он не сказал или не сделал... Гарриет покончила с собой, бросившись в Серпентайн – пруд в Гайд-парке. Ее тело нашли лишь несколько недель спустя.

Записной моралист Саути, тот, кто в свое время упрекал Годвина за излишнюю, по его мнению, откровенность «Воспоминаний об авторе «Защиты прав женщин»», теперь нашел повод пристыдить Шелли.

«Я призываю в свидетели Бога, если только это Существо смотрит теперь на вас и на меня, – отвечал ему Перси, – и я обязуюсь, если, как вы, быть может, надеетесь, после смерти мы с вами встретимся перед Его лицом, – я обязуюсь повторить это в Его присутствии: вы обвиняете меня несправедливо. Я неповинен в зле – ни делом, ни помышлением».

Нельзя с уверенностью сказать, что один только Шелли довел Гарриет до самоубийства. Есть предположения, что у нее был любовник, от которого она забеременела, и именно разлука с ним толкнула ее на этот шаг. В любом случае Шелли, вероятно, мучило сильное чувство вины, и он хотел искупить ее, заботясь о своих детях, Ианте и Чарльзе. Но их не желали ему отдавать, пока он состоит в «беззаконном союзе» с Мэри Годвин.

Теперь, когда Гарриет умерла, ничто не мешало Перси и Мэри пожениться, что они и сделали 30 декабря 1816 года.

Старый Годвин был рад такому финалу: он уже до смерти устал шокировать общественность. Он писал своему брату: «Я не уверен, что ты помнишь, какими сложными путями складывалась моя семья, но полагаю, ты по меньшей мере знаешь, что собственных детей у меня двое: дочь от покойной жены и сын от здравствующей... Должен тебе сообщить, что эту свою длинноногую девочку я недавно сопровождал в церковь, где состоялось ее венчание. Она вышла замуж за старшего сына сэра Тимоти Шелли, баронета, владельца Филд-Плейса, что в Сассексе. Если судить об этом с точки зрения примитивных понятий, она сделала удачную партию, и я горячо надеюсь, что молодой человек будет ей хорошим мужем. Тебя, я полагаю, удивит, что девушка, у которой за душой ни гроша приданого, нашла такого жениха. Но все это превратности судьбы. Я со своей стороны пекусь не столько о богатстве (разве что в пределах разумного), сколько о том, чтоб жизнь ее была почтенна, добродетельна, исполнена удовлетворения».

Мэри Годвин стала теперь Мэри Шелли. Как и ее мать, она вышла замуж по расчету: для того, чтобы угодить общественному мнению и заткнуть рот сплетникам. Но, так же как и Мэри Уолстонкрафт, она заключила союз с мужчиной по своему выбору и по большой любви.

Увы, расчет не оправдался... В январе 1817 года Шелли писал Байрону: «Моя бывшая жена умерла. Это произошло при обстоятельствах столь ужасных, что я не решаюсь о них думать. Сестра ее, о которой вы от меня слышали, несомненно (если не в глазах закона, то на деле) убила ее ради отцовских денег... Сейчас ее сестра подала на меня в Канцелярский суд с целью отнять у меня моих несчастных детей, ставших мне теперь дороже, чем когда-либо, лишит меня наследства, бросит в тюрьму и выставит у позорного столба за то, что я революционер и атеист. Как видно, живя у меня, она похитила некоторые бумаги, подтверждающие эти обвинения. По мнению адвоката, она, несомненно, выигрывает дело... Итак, меня повлекут

перед судилище деспотизма и изуверства и отнимут у меня детей, имущество, свободу, доброе имя за то, что я обличил их обман и бросил вызов их наглому могуществу».

Судебный процесс по опеке над детьми тянулся очень долго и закончился не в пользу Шелли. Правда, его не заключили в тюрьму и не лишили наследства, но право воспитывать детей он потерял. Более того, Шелли прослышал, что лорд-канцлер Элдон считает разумным отобрать у столь безнравственного человека и третьего сына – малыша Уильяма. Он немедленно написал лорду-канцлеру стихотворное послание, которое начиналось словами: «Ты проклят всей страной. Ты – яд из жала гигантской многокольчатой змеи». Детей отправили в Кент, доверив их заботам некоего священника и его жены, а Перси вернулся домой ни с чем. Учитывая все случившееся дальше, возможно, это было и к лучшему.

История трех девочек

Во время суда, чтобы быть поближе к Лондону, семья переехала из Бата в небольшой живописный городок Марлоу, расположенный на Темзе в 33 милях от Лондона. Здесь в январе 1817 года Клер родила дочь, названную Альбой («Альби» было прозвищем Байрона на вилле Диодати). Девочку отправили к другу семьи Ли Ханту, выдали за дочь его кузины и через несколько месяцев взяли назад как «удочеренную».

Клер, несмотря на всю нервозность во время беременности и родов, быстро привязалась к младенцу и стала страстной матерью. В дневнике она описывает радость после возвращения малышки и глубокую связь с нею, которую ощущает.

Вскоре Мэри тоже забеременела, и разница между положением сестер стала особенно ощутимой. Мэри теперь была уважаемой, хоть и по-прежнему небогатой, женой наследника титула, Клер же оставалась отставной любовницей взбалмошного поэта, сейчас путешествовавшего по Италии и зная не желавшего ни бывшей подруги, ни ребенка.

Он не отвечал на ее многочисленные письма и в то самое время, когда Клер мучилась в родах, писал своему другу (авторская пунктуация сохранена): «Я никогда не любил ее и не претендовал на ее любовь – но мужчина остается мужчиной – когда восемнадцатилетняя девушка горделиво входит в его спальню среди ночи – есть только один путь – в итоге она понесла – и вернулась в Англию, чтобы пополнить население этого малолюдного острова...» Он спросил Августу, не хочет ли она взять Альбу на воспитание, та отказалась, в чем ее трудно винить.

Поначалу Мэри была в восторге от племянницы – она вообще испытывала вполне понятное умиление перед маленькими детьми. Шелли же писал гимны красоте маленькой девочки, называя ее «любимой куколкой, слаще которой природа не сотворила», восхищался ее серьезностью, нежностью, «дичинкой», изяществом и грацией, воспевал ее глаза: два отражения итальянского неба, и предрекал, что она вырастет в «Шекспировскую женщину... сокровище Земли».

Но постепенно Мэри стала замечать, что малыш Уильям недолюбливает сводную сестренку. А когда в сентябре того же года родилась дочь Мэри и Перси Клара Эверина и он не проявил к ней враждебности, Мэри убедилась, что это не что иное, как «зов крови». Ее «генетические штудии» совпали с очередным финансовым кризисом в семье, и Мэри недвусмысленно намекнула сестре, что для нее и Шелли стало трудно содержать еще одного ребенка.

В конце концов маленькая Альба, прозванная в доме Утренней Зарей – по-английски это звучит гораздо короче – и Маленьким Командором за особый пристальный взгляд, отправилась на воспитание к отцу, который сразу же переименовал ее в Аллегру, что значит по-итальянски «живая», «быстрая».

Имя оказалось пророческим: всю свою короткую жизнь Аллегра поражала взрослых живостью нрава, упрямством и самостоятельностью ума. Байрон быстро привязался к дочери. Она любила музыку, хорошо пела, умела копировать чужое поведение, что забавляло Байрона и его любовницу, графиню Терезу Гвиччиоли, которую Аллегра называла «мамина».

Но уже через год девочка, похоже, всех утомила, ее начали передавать из рук в руки, из дома в дом, из семьи в семью. Шелли виделся с ней в 1818-м и 1821 годах и снова восхитился ее ангельской красотой и прелестью. Ходили слухи, что позже Клер родила еще одну дочь: Елену Аделаиду, в отцовстве подозревали Шелли. Байрон был возмущен: конечно, и речи быть не может, чтобы такая безнравственная особа общалась с его дочерью. Малышка Елена, вызвавшая столько раздоров, умерла в 1820 году. Ее опередила Клара Эверина, скончавшаяся в 1818 году в Венеции. В 1822-м покинула этот мир и пятилетняя Аллегра: она умерла от тифа в женском монастыре, откуда Клер тщетно пыталась ее вызволить. Единственным ответом на

ее попытки было оскорбительное письмо Байрона: «Если Клер думает, что она сможет вмешиваться в мораль или воспитание ребенка, то она ошибается, ей никогда не будет это позволено». Он не ответил на записку самой Аллегры, в которой она писала, что ждет приезда отца как праздника, потому что у нее накопилось много пожеланий. И закончила так: «Разве ты не приедешь к своей Аллегрине, которая тебя так любит?» Он лишь отослал мертвое тело дочери в Англию, и вместе с ним – проект надписи на ее надгробье. Позже он писал своим друзьям: «Аллегра умерла! Когда она была жива, ее существование не казалось необходимым для моего счастья, но когда я потерял ее, мне стало ясно, что без нее я не могу жить».

Италия – путь утрат

Клару и Аллегру, а позже – Уильяма, стубил нездоровый итальянский климат, достаточно жаркий и влажный для того, чтобы там было вольготно любой заразе. Но для образованного европейца Италия представлялась страной-сказкой, где под ослепительно-синими небесами простираются самые романтические пейзажи, а под сенью древних палаццо и церквей собраны великие сокровища культуры.

Мэри и Перси побудил к отъезду прежде всего страх попасть в долговую тюрьму. Вторых, их гнала в путь надежда, что здоровье Перси, изрядно «расклеившегося» в сыкотную английскую зиму, в теплом климате поправится. Но, конечно же, они мечтали увидеть своими глазами все те памятники античности и Ренессанса, которыми грезили с самого детства. Трудно сказать, чего в их затянувшемся путешествии было больше: погони за впечатлениями или тщетных попыток убежать от судьбы.

Они тронулись в путь 12 марта 1818 года «в чудесную погоду и с добрыми намерениями», – как напишет Мэри в прощальном письме. Они побывали на живописных берегах озера Комо – третьего по величине в Италии и одного из самых глубоких в Европе, с водой удивительно насыщенного ярко-синего цвета. Оно окружено невысокими горами и густыми широколиственными лесами, где под сенью раскидистых каштанов зеленеют мирт и олеандр, а рядом шумят на ветру лавровые и оливковые рощи, в садах растут гранатовые деревья и инжир. Путешественникам хотелось остаться здесь подольше, но цены на аренду жилья на берегах озера были – и остаются по сей день – очень высокими. И семейство двинулось дальше.

Отдохнув два месяца в провинциальном итальянском городке Бани-ди-Лукка, прославленном своими горячими источниками, они поехали в Венецию, где Байрон наслаждался любовью прекрасной итальянки Терезы Гвиччиолли. Шелли хотел добиться для Клер возможности увидеться с дочерью. В Венеции умерла маленькая Клара.

В ноябре того же года Шелли переехали в Неаполь, осмотрев по пути мыс Цирцеи – гору, ограничивающую с севера Гаэтанский залив, где, по преданию, жила волшебница Цирцея, превращавшая мужчин в свиней, посетили храмы Юпитера и Аполлона и гробницу Цицерона. Мэри делала вид, что утешилась, чтобы не напоминать лишний раз спутникам о своем несчастье. Она даже начала писать второй роман, «Матильда», и громоздила в нем ужасы на ужасы, убийство на кровосмешение, по-видимому, вовсе не вдохновляясь сюжетом. При ее жизни «Матильда» никогда не издавалась.

В феврале 1819 года они едут в Рим, где Клер начинает брать уроки пения, а Мэри – рисования. Вечный город покорила путешественников. «Мне кажется, что вся моя прежняя жизнь была пуста и лишь сейчас я начинаю жить», – пишет Мэри в Англию. «Яркое голубое небо Рима, влияние пробуждающейся весны, такой могучей в этом божественном климате, и новая жизнь, которой она опьяняет душу...» – вторит ей Шелли. Но летом малярия, пришедшая с болот, берет свою страшную дань – 7 июня умирает Уильям.



Клара Мэри Джейн Клермонт (1798–1879), или Клэр Клермонт, как ее обычно называли, была сводной сестрой писательницы Мэри Шелли и матерью дочери лорда Байрона Аллегры. Художник – Амелия Карран. 1819 г.

Мэри снова была беременна, но больше не позволяла себе надеяться – ведь терять надежду так больно. Годвин в письмах призывал ее крепиться, Шелли в стихах просил не покидать его, но у Мэри уже не осталось сил. Она погрузилась в скорбь.

Новая жизнь

Перси Флоренс Шелли родился 12 ноября 1819 года во Флоренции. Мэри снова впряглась в материнские заботы.

Когда-то во «Франкенштейне» она описывала семью Виктора как идеальных родителей, на которых сама хотела равняться. «Как ни были они привязаны друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня, – писала она. – Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца – таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой и их божком, и еще лучше того – их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполняют свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, можно представить себе, что, хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием».

Теперь она уже не тешит себя надеждой стать идеальной матерью, но старается радоваться каждому дню, который проводит с ребенком, не загадывая на будущее. «Крошечный мальчик стал в три раза больше, чем был при рождении, развивается он прекрасно, плачет нечасто, а сейчас спит крепчайшим сном, усердно смежив глазки, в которых отражается его душа».

И все же она записывает в своем дневнике и такие строки, полные тревоги: «Сколько воды утекло! Что за жизнь! Сейчас мы вроде бы спокойны, но кто знает, куда ветер... Не хочу предсказывать дурное, его у нас и так было предостаточно. Приехав в Италию, я сказала себе: все хорошо, лишь бы подольше длилось, а оказалось – кончилось быстрее южных сумерек. Нынче я повторяю то же самое. Пусть длится как полярный день, – но ведь и он кончается».

* * *

В январе семейство перебирается в Пизу, летом уезжает в ее окрестности, на воды. Для Клер нашлось место гувернантки во Флоренции, и она наконец покинула сестру и шурина, изрядно уставших от ее живого и непредсказуемого темперамента. Мэри учит древнегреческий, читает Гомера, Тацита и «Эмилия» Руссо и начинает свой третий роман «Вальперга» – историческое повествование о жизни и приключениях Каструччо Кастракани, князя, правившего Лукой в XIV веке. В романе войска Каструччо штурмуют вымышленную крепость Вальпергу, которой владеет вымышленная графиня Эвтаназия, в которую Каструччо влюблен. Эвтаназия тоже равнодушна к нему, но любовь к свободе сильнее. Когда у защитников крепости не остается надежды на победу, графиня пытается сбежать на корабле и погибает. В представлении Мэри Эвтаназия воплощала в себе черты идеального правителя, руководствующегося разумом и милосердием и превыше всего ценящего свободу своего народа. Она исповедует идеи Шелли о необходимости общественного прогресса и установления правления, основанного на любви, а не на деспотизме. В финале умирающий Каструччо предрекает: «...Вы увидите, как мир охватят всевозможные потрясения, и все перевернется вверх дном».

Роман позже был издан Уильямом Годвином, которому, несомненно, показался близким политический пафос дочери, и заслужил хорошие отзывы в прессе. Кроме того, она пишет мифологические драмы «Прозерпина» и «Мидас».

Шелли тоже много работает. Он создает поэму за поэмой, сатиру за сатирой, драму за драмой. Предыдущий, 1819 год специалисты по его творчеству называют *annus mirabilis* –

«чудесный год», но и в следующих, 1820-м и 1821 годах он лишь немного сбавляет темп, словно пытается заклясть само время.

Новые удары

В январе 1822 года в Пизу приезжает Байрон. Они с Шелли много времени проводят вдвоем, стреляют из пистолетов, играют на бильярде и заряжают друг друга творческой энергией. На лето они уезжают из города, снимают виллу на восточной стороне залива Специи. И снова несчастья начинают сыпаться на их головы. Умирает Аллегра. В июне у Мэри случается выкидыш, и она едва не погибает от кровотечения. Спас ее Шелли, усадивший жену на мешок со льдом.

Нервы у семейства Шелли, а также у их друзей, гостивших в это время на вилле, были напряжены до крайности. Возможно, они употребляли опиум. Во всяком случае, всю компанию по очереди посещали видения. Шелли, к примеру, примерещилась Аллегра, которая, смеясь, поднялась из моря. То ему казалось, что волны затапливают дом, то он встречал на террасе самого себя, и этот «альтер эго» спрашивал его: «И долго ты намерен благодушествовать?»

1 июля, через две недели после выкидыша у Мэри, Шелли в компании приятеля по фамилии Уильямс отправился на собственной яхте в Ливорно и оттуда в Пизу – на встречу с Байроном. Вернуться они должны были через неделю. В день их возвращения случилась гроза и шторм. Мэри и жена Уильямса полагали, что их мужья просто отложили плавание. Но когда через два дня о них все еще не было ни слуху ни духу, женщины встревожились и начали поиски. И 19 июля были обнаружены выброшенные на берег тела Уильямса и Шелли. Поэта опознали по одежде и по томикам Софокла и Китса, найденным в карманах сюртука.

Во главе семьи

Мэри было всего 25 лет, когда она овдовела. Отныне и до самой смерти в 1851 году она сама отвечает за себя и за сына. Байрон и другие друзья Шелли были готовы оказать ей поддержку, но их запала хватило лишь на короткое время, и большую часть своего жизненного пути Мэри приходилось рассчитывать лишь на собственные силы.

Шелли не оставил ей состояния, и единственным источником средств к существованию для нее оказался литературный труд. Что ж, Мэри происходила из семьи, где никогда не гнушались писать за деньги и никогда не лицемерили ради заработка. «Литературный труд, развитие ума, распространение моих идей – вот все, что осталось мне, чтобы рассеять летаргию», – записывает она в дневнике. И, отправив урну с прахом Шелли в Рим, где он был погребен на новом протестантском кладбище рядом с малюткой Уильямом, Мэри отправляется в Геную, где помогает изданию газеты «Либерал» – осуществлению того самого проекта, который Шелли обсуждал с Байроном и друзьями в Пизе накануне гибели. Забальзамированное сердце Шелли она взяла с собой и хранила до самой своей смерти.

Единственным ее утешением после смерти Перси-старшего оставался их сын. Но Перси-младший был не только ее сыном, но и наследником рода Шелли, а с 1826 года, когда умер маленький Чарльз, – единственным наследником. Его судьба волновала его деда, сэра Тимоти Шелли, и он немедленно попытался забрать мальчика от матери с тем, чтобы отправить его в Англию и дать ему надлежащее воспитание.

Мэри категорически отказалась.

Ианта, дочь Шелли и Гарриет, благополучно повзрослела, вышла замуж и скончалась в весьма зрелом возрасте. Но поскольку она не была мальчиком и не могла стать наследником, по-видимому, ее судьба мало волновала сэра Тимоти.

* * *

Летом 1823 года Мэри возвращается в Англию, недолго живет у Годвина, встречается с адвокатами сэра Тимоти и получает от последнего 100 фунтов, на которые снимает дом. «У меня тихое опрятное жилище, – пишет она друзьям, – славная служанка, мой сын вполне здоров, счастлив и прелестен».

Она возобновляет отношения с Изабеллой Бусс, бывшей Изабеллой Бакстер. Теперь Мэри – уважаемая вдова, и ничто не мешает ей встретиться со старой подругой. Мэри так рада этой встрече, так нуждается в дружеском участии, что старается не держать зла на мужа Изабеллы. Клер работает гувернанткой в России, сестры переписываются. Позже Клер переберется в Париж, где еще увидится с Мэри.

Отношения с отцом тоже восстановились, что немало поддерживало Мэри. Еще при жизни Шелли Годвин хвалил «Франкенштейна», говорил, что это произведение «сжатое, мужественное, сильное, без всякого смягчения, упрощения и надменной фальши». В 1822 году он писал дочери: «Это самое необыкновенное произведение, написанное двадцатилетним автором, о каком я только слышал. Сейчас тебе двадцать пять. И очень удачно, что ты много занимаешься чтением и воспитываешь свой ум именно в той манере, которая даст тебе возможность стать успешным автором. Если ты не сможешь быть независимой, то кто еще сможет?»

Теперь же он готовит второе издание книги, и почти одновременно на лондонской сцене ставят пьесу «Самонадеянность, или Судьба Франкенштейна». Автор, молодой британский драматург Ричард Бринсли Пик, превратил трагедию в мелодраму, снабдив ее спецэффектами и музыкальными номерами. Мэри такая трактовка ее сюжета изрядно позабавила. Забегая впе-

ред, скажу, что в 1826 году вышла переделка «Франкенштейна», выполненная неким Милнером и названная «Человек и монстр, или Судьба Франкенштейна», за ней последовали «Франкенштейн, или Жертва вампира» братьев Броу в 1849 году, «Образцовый человек» Батлера и Ньютона в 1887 году. Таким образом, к моменту первой экранизации Франкенштейна в 1910 году публика была уже хорошо знакома с сюжетом. Обращением к сюжету и идеям «Франкенштейна» были также роман «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса (1896) и повесть «Собачье сердце» Михаила Булгакова (1925).

Мэри занимается и изданием стихов Шелли, пишет предисловие к первому тому. Но сэр Тимоти, увидев книгу в продаже, счел это оскорблением памяти сына и потребовал изъять тираж, грозя в противном случае лишиться невестку и внука содержания. Мэри, внутренне негодуя, повинуется и расторгает договор на издание прозаических повестей Шелли.

* * *

В этот же период Мэри работает над новым романом «Последний человек». Это фантастическое произведение, описывающее Англию будущего, ставшую республикой и отправившую королевскую семью в почетную отставку. Герои: благородный Адриан, наследник, так и не ставший королем, – его взгляды совпадают с философией Шелли, – его верный друг Лайонел, женатый на его сестре; импульсивный, харизматичный и жестокий лорд Реймонд, в котором угадываются черты Байрона, – страдают и любят, предаются и совершают подвиги, борясь со страшной эпидемией, которая захватывает континент за континентом. Но не в их силах остановить распад привычного человеческого общества. И вот уже «последний человек» бредет по полям опустевшей земли, которой никогда не коснется плуг, и кажется себе «уродливым наростом на теле природы». «Да, вот она, земля, – бормочет он. – Никаких следов разрушения, никаких разрывов на ее зеленеющей поверхности, земля продолжает вращаться, дни сменяются ночами, хотя нет на ней человека, ее жителя и ее украшения. Отчего я не могу уподобиться одному из этих животных и не терпеть больше мук, которые мне выпали?»

Роман «Последний человек» публика приняла сдержанно. По правде говоря, он ее напугал. Ужасы «Франкенштейна» были, так сказать, локального масштаба, после того, как монстр и его создатель потерялись в полярных просторах, нормальная жизнь восстанавливалась. Но теперь Мэри напоминала читателям о хрупкости всего человеческого существования, а они об этом помнить не хотели. Если прежде Вальтер Скотт в своей рецензии на «Франкенштейна» хвалил автора за «недюжинную силу поэтического воображения» и поздравил его «с выходом на свет романа, пробуждающего новые мысли и неведомые дотоле источники чувств», то теперь критики наперебой называют «Последнего человека» «порождением расстроенного воображения и в высшей степени дурного вкуса», «тошнотворным нагнетанием ужасов», «образчиком мрачного безумия».

Итоги

В мае 1824 года до Мэри доходит весть о смерти Байрона. Он участвовал в подготовке восстания за свободу Греции, но погиб не от пули: его сразила простуда. Он умер со словами: «Сестра моя! дитя мое!.. бедная Греция!.. я отдал ей время, состояние, здоровье!.. теперь отдаю ей и жизнь!»

Мэри записывает в дневнике: «В возрасте двадцати семи лет я ощущаю себя пожилым человеком – все мои друзья покинули меня».

Ей предстояло прожить еще двадцать семь лет.

Она много работала, публиковала в журналах статьи и рассказы, биографии итальянских писателей и поэтов: Петрарки, Боккаччо, Макиавелли, Сервантеса и др., а также французов: Руссо, Вольтера, Расина, Жермены де Сталь... Написала еще три романа.

«Приключения Перкина Уорбека» (1830) – исторический роман об Англии XV века, о борьбе за трон и снова за лучшее будущее для человечества. В романе Мэри словно ставит эксперимент: что было бы с Шелли, если бы он избрал путь политической борьбы? И что было бы с ней? Своим «альтер эго» она выбирает жену главного героя – леди Катарину Гордон, которая старается противопоставить мужской разрушительной тактике свой образ действий, основанный на дружелюбии и признании равноправия.

«Лодор» (1835) – «семейный роман», описание невзгод леди Корнелии Лодор и ее дочери Этель, находящихся после смерти их мужа и отца в трудном финансовом положении. Третья героиня романа, Фанни Дерам, являет собой образ независимой женщины, следующей идеалам Мэри Уолстонкрафт и подчеркивающей важность женского образования и уравнивания в правах с мужчинами. Это может показаться неожиданным, но роман был благоприятно встречен критиками, в рецензии указывали, что он «полон глубоких и чистых мыслей».

«Фолкнер» (1837) был тоже посвящен семейной жизни, но на этот раз речь шла о тиране-отце и бунтующей против него приемной дочери. Литературовед XX века Бетти Беннет оценивает «Фолкнера» как один из самых сильных и, возможно, лучший роман Мэри Шелли, где «героиня – образованная женщина, которая пытается создать мир справедливости и всеобщей любви».

В 1831 году «Франкенштейн» был впервые опубликован с указанием имени автора в серии «Образцовые романы», раньше в этой серии вышло переиздание «Калеба Уильямса» Годвина с предисловием Мэри Шелли. Годвин покинул этот мир пять лет спустя – в 1836 году.

В 1839 году Мэри добилась права издать поэтические сочинения Шелли и выпустила в свет три тома со своими комментариями.

В 1840 году для Оксфордского словаря национальных биографий ее портрет написал Ричард Ротвелл. С полотна на нас смотрит зрелая женщина с тонкими правильными чертами, высоким лбом и темными волосами, перехваченными золотистым ободком, и обнаженными белоснежными плечами. Но больше всего привлекают ее глаза: карие, внимательные и прячущие глубоко на дне улыбку. Морщинки под глазами не дают зрителю забыть о бедах, что пережила эта женщина, о тех слезах, которые она пролила. Но ее взор ясен, она смотрит без страха, словно обещает жизни: что бы она еще ни пыталась с ней сделать, эта женщина все равно не склонит головы.

Мэри дружила с молодыми писателями Вашингтоном Ирвингом и Томасом Муром. Один из ее приятелей, попробовав предложить ей замужество и получив отказ, пытался сосватать ее Ирвингу. Он просто не мог понять, почему молодая, красивая и небогатая женщина не спешит вступить во второй брак, не хочет переложить на кого-то заботу о своем благосостоянии, а предпочитает справляться своими силами.

Мэри путешествовала по Европе вместе с Перси и своими друзьями, посетила она и берега Женевского озера, где записала в дневнике: «Мое дальнейшее существование было всего только бесплотной фантазмагорией, а тени, собравшиеся вокруг этого места, и были истинной реальностью». Но это, скорее всего, лишь мимолетное настроение. На самом деле она, несомненно, жила настоящей жизнью, в которой, как это всегда бывает с настоящей жизнью, среди уныния и разочарований были и радости, и победы, и удовлетворенность. Она всегда спрашивала себя, как бы отнесся Шелли к тому или иному ее решению, и радостно сознавала, что он согласился бы с нею и гордился бы тем, что она сделала.



Портрет Мэри Шелли. Художник – Ричард Ротвелл. 1840 г.

«Одиночество было моим единственным утешением – глубокое, темное, похожее на смерть, одиночество»

(*Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей»*)

Она уделяла много внимания образованию сына, отправила его в Кембридж. В 1844 году после смерти сэра Тимоти Перси получил баронский титул и в 1848 году женился на Джейн Сент-Джон – милой девушке, которая искренне полюбила свою свекровь. Детей у них не было. Мэри ждала, когда в сыне проявятся таланты его родителей, мечтала увидеть возрожденного Шелли, но так и не дождалась. Из Перси-младшего получился вполне заурядный добродушный обыватель, немного ленивый и лишенный каких бы то ни было литературных склонностей. Мэри пережила и это разочарование. В конце концов, оно было далеко не самым страшным в ее жизни. Ее сын был жив, обеспечен, женат и счастлив в браке, она наконец имела возможность издавать труды Шелли, не беспокоясь о мнении свекра, – по большому счету, этого вполне достаточно. Впрочем, чем старше она становилась, тем чаще позволяла себе предаваться меланхолии.

Мэри Шелли скончалась 1 февраля 1851 года, отпраздновав свое последнее Рождество в кругу семьи. С ее посмертной маски художник Реджинальд Истон написал миниатюру, на которой изобразил совсем еще юную Мэри, нежную и чистую, словно цветок под солнцем. К этому портрету как нельзя лучше подходят строки Шелли о его возлюбленной: «дитя любви и света».

Жизнь идей

Чем дальше в XX век, тем сильнее людей пугало то, что огромная мощь, накопленная благодаря науке, обернется против человечества. И тем чаще они обращались к сюжетам, подобным «Франкенштейну», для того, чтобы обсудить свои страхи и сомнения.

Настоящую славу принесло «Франкенштейну» еще одно чудо прогресса – кинематограф. Первый фильм по роману Шелли был, как я уже упоминала, поставлен в 1910 году на студии Томаса Альвы Эдисона режиссером Дж. Сирлом Доули. За ним сразу же последовали фильмы Джозефа Смайли «Жизнь без души» (1915) и итальянского режиссера Эудженио Тесты «Чудовище Франкенштейна» (1920).

Невозможно не упомянуть целый «сериал» о Франкенштейне, точнее, несколько фильмов компании «Universal», в которых роль «чудовища» сыграл Борис Карлофф. Первый фильм, снятый в 1931 году, так и назывался «Франкенштейн», за ним последовали «Невеста Франкенштейна» (1934), «Сын Франкенштейна» (1939) и «Призрак Франкенштейна» (1942), «Франкенштейн встречает человека-волка» (1943), «Дом Франкенштейна» (1944).

Чем дальше уходили фильмы от первоисточника, тем более «топорными» они становились. Чудовище больше не пыталось осмыслить свое существование и не переживало свою чудовищность, оно сосредоточилось на том, чтобы пугать зрителей и убивать маленьких девочек. В какой-то момент режиссеры забыли, что имя Франкенштейн принадлежало создателю демона, и стали называть Франкенштейном его творение. Борис Карлофф давно ушел из сериала, роли чудовища исполняли его многочисленные эпитоны. Трагедия, как водится, завершилась фарсом, вернее, комедией: «Эббот и Костелло² встречают Франкенштейна» (1948).

В 1957 году эстафетную палочку у «Universal» перехватила студия «Hammer». Согласно голливудским правилам, они не имели права использовать ни один из образов и сюжетных ходов, который «засветился» в предыдущих фильмах. Поэтому режиссер Теренс Фишер снял оригинальный цветной фильм «Проклятие Франкенштейна». Сюжет значительно отличается как от фильмов «Universal», так и от романа Шелли. Изменилось даже время действия. Теперь события происходят в конце XIX века. Но тема осталась прежней: моральные требования, которые ученый должен предъявлять к самому себе, критерии, по которым он оценивает, нужно ли идти до конца в своей жажде познания или лучше отступить. Картина имела шумный успех, и в следующем году было снято ее продолжение – «Мечь Франкенштейна».

Одновременно голливудский режиссер Говард Кох снял фильм, в котором действие происходило в XX веке, причем по отношению к дате съемок было перенесено в будущее – «Франкенштейн 1970».

Снималось большое количество фильмов-подделок, которые нещадно эксплуатировали образы Мэри Шелли: «Я был подростком-Франкенштейном» (1957), «Франкенштейн встречает Космическое Чудовище» (1965), «Джесси Джеймс встречает дочь Франкенштейна» (1966), «Франкенштейн создал женщину» (1967), «Франкенштейн должен быть разрушен» (1969), «Ужас Франкенштейна» (1970), «Франкенштейн и Чудовище из ада». Появилась и японская версия – «Фуранкеншитэн», а также множество комедий (некоторые из них совсем не плохи, например «Молодой Франкенштейн» (1974)), высмеивающих голливудские штампы, которыми оброс сюжет.

Интересным переосмыслением темы стала картина Фрэнка Роддэма «Невеста», возвратившая в фильмы о Франкенштейне философскую драму и драму идей. Вернуться к первоисточнику попробовали в 1992 году Дэвид Уикс в фильме «Франкенштейн: The Real Story» (1992) и Кеннет Брана в фильме «Франкенштейн Мэри Шелли».

Одной из самых оригинальных интерпретаций сюжета стал роман фантаста Брайана Олдисса «Освобожденный Франкенштейн» (1974), по которому был снят фильм в 1990 году.

Его главный герой Джозеф Боденлэнд из-за сдвигов пространства-времени переносится из родного 2020 года в 1816-й, знакомится с Мэри и Перси Шелли и Байроном, и обнаруживает, что здесь Франкенштейн существует как реальная личность. Боденлэнд пытается уговорить Франкенштейна прекратить опыты и в разгаре спора убивает его. Теперь он вынужден взять на себя его миссию и устремиться к Северному полюсу в погоню за монстром. По пути он думает: «Где-то вполне может существовать 2020 год, в котором я существую как персонаж в романе о Франкенштейне и Мэри».

Франкенштейн присутствовал на страницах множества комиксов, адаптаций, переложений, был героем театральных постановок и т. д. Он стал таким же «символом зла», как Дракула или доктор Октопус.

Кинокритик и историк кино Сергей Бережной, подводя итог превращениям, которые претерпел этот сюжет на протяжении XX века, пишет:

«Образ Франкенштейна впитал в себя неизбежное зло, которым отягощен каждый решительный шаг за грань привычного.

Этот шаг всегда необходим – потому что, во-первых, остановка означает застой и смерть и, во-вторых, потому что невозможно обнаружить грань, не переступив ее.

Этот шаг всегда опасен – ибо за гранью привычного лежит неизвестность.

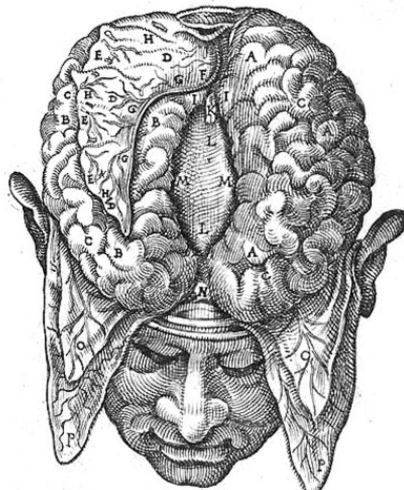
Этот шаг всегда требует мужества и готовности платить за риск.

Франкенштейн – это воображаемый разведчик, которого человечество посылает проверить, насколько велика может быть плата за тот или иной решительный шаг. Как и любой, кто берется за необходимую, но чертовски грязную работу, он не может требовать, чтобы мы его бурно любили. Напротив – скорее уж мы его с восторгом и рвением осудим, забросаем камнями, отдадим гильотине...»

Таким образом, двадцатилетней Мэри Шелли удалось то, что делает писателя по-настоящему великим: она угадала скрытые тенденции эпохи, создала новые образы и сформулировала новые идеи, которые человечество обсуждает вот уже третье столетие. Она сыграла «на мужском поле», причем так, что обеспечила себе бессмертие в человеческой памяти. И Боденлэнд в романе Брайана Олдисса «Освобожденный Франкенштейн» ничуть не преувеличивает, когда говорит Мэри Шелли: «Я явился из времени, когда ваш роман всеми признан как литературный шедевр и пророческое прозрение, из времени, когда любому образованному человеку знакомо имя Франкенштейна».



Франкенштейн, или Современный Прометей Мэри Шелли



В мае 1816 г. Мэри и Перси Биши Шелли в сопровождении Джейн Клер Клермонт (1798–1879), сводной сестры Мэри по отцу и возлюбленной Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), прибыли в Швейцарию, где встретились с Байроном и его личным врачом Джоном Уильямом Полидори (1795–1821). В один из июньских вечеров на снимавшейся Байроном вилле Диодати, расположенной в селении Колоньи (или Колиньи) у южной оконечности Женевского озера, ими было затеяно знаменитое литературное соревнование, результатом которого стал демон «Франкенштейна» и знаменитая повесть Джона Полидори «Вампир», основанная на неудачном наброске Джона Гордона Байрона «Погребение».

О романе «Франкенштейн»

Роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» уже по одной своей фабуле, несомненно, представляет собой одно из наиболее оригинальных и цельных произведений последнего времени. Читая его, мы с изумлением спрашиваем себя, каковы могли быть размышления – и каков жизненный опыт, приведший к ним, – которые породили в воображении автора поразительные сочетания мотивов и событий и сокрушительную финальную катастрофу, составляющие эту повесть. Быть может, по некоторым второстепенным признакам можно заключить, что она является первой пробой пера. Однако это суждение, основанное на тончайших различиях, может быть и ошибочным; ибо роман от начала до конца написан твердой и уверенной рукой. Интерес постепенно возрастает по мере того, как повествование близится к концу с нарастающей скоростью камня, катящегося по склону. Мы следим, затаив дыхание, как событие громоздится на событие, а страсть вызывает ответную страсть. Мы кричим: «Постойте! Довольно!» – но впереди нас ждут все новые события; подобно жертве, о которой повествует автор, мы думаем, что больше не вынесем, но предстоит вынести еще. Пелион громоздится на Оссу, а Осса на Олимп³. Мы взбираемся на одну вершину за другою, пока взору не открываются беспредельные дали; голова у нас кружится, и почва уходит из-под ног.

Главным достоинством романа является способность возбуждать глубокие и сильные чувства. Перед нами предстают изначальные побуждения человека; и, пожалуй, только те, кто привык углубляться мыслью в их истоки и направление, смогут вполне понять вытекающие из них действия. Но так как все они основаны на человеческой природе, то едва ли найдется читатель, способный интересоваться хоть чем-нибудь, кроме новой любовной истории, который не отозвался бы на них какой-то из сокровенных струн души. Ибо изображаемые чувства столь нежны и невинны – образы второстепенных персонажей этой необычайной драмы озарены столь мягким светом – картины домашней жизни просты и трогательны; пафос повествования глубок и могуч. Самые злодеяния и ярость одинокого Чудовища⁴ – как ни жутки они – не вызваны роковым стремлением к злу, но неизбежно следуют из известных причин, которые вполне их объясняют. Они являются как бы порождениями Необходимости и Человеческой Природы. В этом и заключается мораль книги – вероятно, наиболее важная и наиболее общезначимая мораль из всех, какие можно внушить с помощью примеров. Причините человеку зло, и он станет злым. Ответьте на любовь презрением; поставьте человека, по какой бы то ни было причине, в положение отверженного; отлучите его, существо общественное, от общества, и вы неизбежно принудите его быть злым и себялюбивым. Именно так слишком часто происходит в обществе: тех, кто скорее других могли бы стать его благодетелями и украшением, по какому-нибудь случайному поводу клеймят презрением и, обрекая на душевное одиночество, превращают в бич и проклятие для людей.

Чудовище в «Франкенштейне», несомненно, является устрашающим созданием. Оказавшись существом общественным, оно не могло не встретить у людей того приема, какое встретило. Это был урод, аномалия; хотя душа его, под воздействием первых впечатлений, была любящей и чувствительной, происхождение его столь необычно и страшно, что когда выявились все последствия этого, первоначальная доброта превратилась у него в мстительность и неукротимую ненависть к людям. Сцена в хижине между Чудовищем и слепым Де Лэси является одним из высочайших образцов патетического, какие мы можем вспомнить. Читать этот диалог – как и многие другие, подобные ему, – невозможно без того, чтобы сердце не замирало и «слезы не струились по щекам»⁵. Встреча и спор Франкенштейна с Чудовищем на ледяном море по своей силе приближается к спору Калеба Вильямса с Фоклендом. Она действительно несколько напоминает по своему стилю и характерам замечательного писателя, которому автор

«Франкенштейна» посвятил свою книгу и с творчеством которого он, очевидно, хорошо знаком.

Впрочем, следы чего-либо похожего на подражание можно найти лишь в одном эпизоде романа: высадка Франкенштейна в Ирландии. Общий же характер его не имеет себе подобных в литературе. После гибели Элизабет действие, словно поток, который в своем беге становится быстрее и глубже, приобретает грозное величие и великолепную силу бури.

Сцена на кладбище, когда Франкенштейн навещает могилы своих близких, его отъезд из Женевы и путь через татарские степи к берегам Ледовитого океана похожи одновременно на жуткие движения ожившего трупа и на странствия некоего духа. Сцена в каюте у Уолтона – исполненная величия речь, какую Чудовище произносит над трупом своей жертвы, – свидетельствуют о силе интеллекта и воображения, которую – как, несомненно, признает читатель, – редко кому удавалось превзойти.

Предисловие к поэме «Освобожденный Прометей»

Греческие трагики, избирая своей темой какой-либо эпизод национальной истории или мифологии, трактовали его с некоторой свободой. Они вовсе не считали себя обязанными придерживаться принятого толкования или подражать в сюжете, как и в названии, своим соперникам и предшественникам. Подражание равнялось бы отказу от надежды превзойти этих соперников, а ведь именно эти надежды и побуждают сочинителей к их труду. История Агамемнона была показана на афинской сцене в стольких же вариантах, сколько было сочинено о нем драм.

Я позволил себе подобную же вольность. В «Освобожденном Прометее»⁶ Эсхила примирение Юпитера с его жертвой было ценою, за которую он купил предостережение об опасности, грозящей его царству, если он вступит в брак с Фетидой. При такой трактовке сюжета Фетиду сочетали браком с Пелеем, а Прометей, с согласия Юпитера, освобождался Гераклом. Если бы я следовал этому образцу, это было бы всего лишь попыткой реконструировать утраченную драму Эсхила; и даже если бы я предпочитал именно такой вариант сюжета, я все же колебался бы осуществить его, боясь напрашиваться на сравнение с высоким образцом. Но мне, по правде сказать, не нравилась столь жалкая развязка, как примирение Защитника людей с их Угнетателем. Нравственная сила мифа, заключенная прежде всего в страданиях Прометея и его непреклонности, была бы сведена на нет, если бы мы могли себе представить, что он отрекается от своих гордых речей и трепещет перед победоносным и коварным противником. Единственным вымышленным образом, сколько-нибудь подобным Прометею, является Сатана⁷; однако я нахожу образ Прометея более поэтичным, ибо он не только мужествен, величав и с терпеливой твердостью противостоит всемогущей силе, но и свободен от честолюбия, зависти, мстительности и стремления возвеличиться, которые мешают нам вполне сочувствовать герою «Потерянного Рая». Образ Сатаны рождает в наших умах вредную софистику, заставляющую нас взвешивать его вину и его страдания и оправдывать первую безграничностью последних. У тех читателей, которые судят об этом великолепном произведении как люди верующие, он рождает даже нечто худшее. А Прометей является образцом нравственного и интеллектуального совершенства, движимым к благороднейшей цели наиболее чистыми и высокими побуждениями.

Моя поэма была сочинена большей частью на холмах, где высятся развалины Бань Караллы⁸, среди усеянных цветами прогалин и ароматных цветущих зарослей, которые причудливо раскинулись там на огромных площадках и головокругительных арках, повисших в воздухе. Синее римское небо, могучее пробуждение весны в этом дивном краю, ощущение новой жизни, которым она переполняет и опьяняет все наше существо, – вот что вдохновляло меня.



Портрет Перси Шелли. Художник – Амелия Карран. 1819 г.

...Дух Мильтона явился мне сейчас, —
И лютню снял с густого древа жизни,
И громом сладкозвучия потряс
Людишек, презирающих людей,
И кровью обгаренные престолы,
И алтари, и крепости, и тюрьмы...

(Перси Биши Шелли. «К Мильтону». Перевод К. Бальмонта)

Образы моей поэмы, как в этом убедится читатель, зачастую заимствованы из области человеческой мысли или тех внешних действий, в которых она выражается. Для поэзии нового времени это необычно, хотя Данте и Шекспир изобилуют подобными примерами; Данте – более всех других поэтов и с наибольшим успехом. Но у поэтов Греции, которым были ведомы все способы пробуждать интерес своих современников, этот прием был обычным, и я готов согласиться, чтобы употребление его мною было приписано изучению их творчества (поскольку большей заслуги за мной, вероятно, не признают).

Необходимо оговорить также и то, насколько отразилось в моем сочинении влияние современной литературы, ибо именно это ставится в вину поэмам, которые пользуются – и вполне заслуженно – гораздо большей популярностью, чем мои. Невозможно быть современником таких писателей, какие сейчас стоят в первых рядах нашей литературы, и чистосердечно утверждать, что твой слог и направление мысли не подверглись влиянию этих необыкновенных умов. Правда, формы, в какие облеклось их творчество, – но, разумеется, не его дух, – порождены скорее нравственными и интеллектуальными особенностями среды, чем особенностями их собственной личности. Таким образом, немало писателей усвоило форму – но не дух – тех, чьими подражателями они слывут; ибо первую они получают от своего времени, а второй должен быть грозным разрядом их собственной души.

Особая, яркая и всеобъемлющая образность, отличающая современную литературу Англии, вообще не является результатом подражания какому-либо одному автору. Сумма талантов в любую эпоху примерно одна и та же; но обстоятельства, вызывающие их к жизни, непрестанно изменяются. Будь Англия поделена на сорок республик, по населенности и пространству равных Афинам, у нас нет оснований сомневаться, что при строе не более совершенном, чем афинский, в каждом из них явились бы философы и поэты, равные афинским,

которых донныне никто не превзошел (за исключением Шекспира). Великими писателями золотого века нашей литературы мы обязаны тому бурному пробуждению общественного сознания, которое повергло во прах старейшую и наиболее деспотическую из христианских церквей. Мильтон появился в результате дальнейшего развития того же самого духа. Не забудем, что великий Мильтон был республиканцем и отважным исследователем в области нравственности и религии. А великие писатели нашего времени, как мы имеем основания думать, являются спутниками и предтечами еще небывалой перемены в нашем общественном строе или в убеждениях, на которых он зиждется. Громовая туча общественного сознания готова извергнуть исполинскую молнию, и соответствие между общественным порядком и общественной мыслью восстанавливается или должно вскоре восстановиться.

Что касается подражания, то ведь поэзия является вообще искусством подражательным. Она творит, но творит посредством сочетания и воспроизведения. Поэтические абстракции представляются прекрасными и новыми вовсе не потому, что составляющие их элементы никогда прежде не существовали ни в сознании человека, ни в природе; но потому, что образуемое ими целое имеет некую очевидную и прекрасную аналогию с этими источниками наших чувств и мыслей и с их нынешним состоянием; великий поэт – это прекрасное создание природы, которое другой поэт непременно обязан изучать. Отказаться созерцать красоту, заключенную в творениях великого современника, было бы не более разумно и не более легко, чем отказаться отражать в нашем сознании все прекрасное, что есть в окружающем нас мире. Такой отказ был бы самонадеянностью со стороны каждого, исключая величайших гениев; а следствием отказа, даже и для них, была бы вымученность и неестественность. Поэта создает совокупность тех внутренних сил, какие влияют и на природу других людей и тех внешних влияний, которыми эти силы порождаются и питаются; он не является чем-то одним из них, но сочетанием первых и вторых. В этом смысле сознание любого человека формируется всеми творениями природы и искусства, каждым словом и мыслью, какие на него воздействуют; это – зеркало, где отражаются все образы и где они сливаются в нечто единое. Поэты, как и философы, художники, скульпторы и музыканты, являются, с одной стороны, творцами, а с другой – творениями своего века. От этой зависимости не свободны и самые великие. Существует сходство между Гомером и Гесиодом⁹, Эсхилом и Еврипидом, Вергилием и Горацием, Данте и Петраркой¹⁰, Шекспиром и Флетчером¹¹, Драйденом¹² и Попом¹³; каждую такую пару объединяет родовая близость, в пределах которой располагаются индивидуальные различия. Если эта схожесть является результатом подражания, то я готов признаться, что подражал.

Я хочу при этом воспользоваться возможностью заявить, что мне свойственна «страсть к переделке мира»¹⁴, как называет это некий шотландский философ; какая именно страсть побудила его написать и опубликовать свою книгу, об этом он умалчивает. Что до меня, то я согласен скорее угодить в ад с Платоном и лордом Бэконом, чем попасть на небо с Пэли и Мальтусом¹⁵. Однако было бы ошибкой думать, что мои поэтические произведения целиком посвящены прямой пропаганде реформы или содержат какую-либо рассудочную теорию жизни. Дидактическая поэзия внушает мне отвращение; все, что может быть с тем же успехом выражено в прозе, в поэзии скучно и излишне. Моей же целью до сих пор было простое ознакомление избранных и одаренных живым воображением читателей поэзии с прекрасными образцами нравственного совершенства; ибо я убежден, что куда душа не научилась любви, восхищению, вере, надежде и стойкости, рассудочные моральные наставления будут семенами, брошенными в дорожную пыль, которые путник беззаботно топчет, хотя они принесли бы ему жатву счастья. Если мне суждено осуществить мой замысел, а именно – написать историю того, что мне представляется важнейшими элементами, составившими человеческое общество, пусть приверженцы несправедливости и предрассудков не надеются, что я возьму за образец Эсхила, а не Платона.

Если я здесь просто и свободно говорю о себе, мне нет нужды оправдываться в этом перед непредубежденным читателем; а предубежденные пусть знают, что, извращая мои слова, они меньше вредят мне, чем собственному уму и сердцу. Всякий, кто наделен, хотя бы и в ничтожной степени, способностью занимать и поучать людей, обязан эти способности упражнять; если попытки его окажутся неудачны, пусть неосуществленная цель послужит ему достаточным наказанием; и пусть никто не старается засыпать его труды прахом забвения; ибо, насыпав ее целый холм, они укажут таким образом место его могилы, которая иначе осталась бы никому не известной.

Предисловие к изданию 1818 года¹⁶

Событие, на котором основана эта повесть, по мнению доктора Дарвина¹⁷ и некоторых немецких писателей-физиологов¹⁸, не может считаться абсолютно невозможным. Не следует думать, что я хоть сколько-нибудь верю в подобный вымысел. Однако, взяв его за основу художественного творения, полагаю, что не просто сплела цепочку сверхъестественных ужасов. Происшествие, составляющее суть повествования, выгодно отличается от обычных рассказов о привидениях или колдовских чарах и привлекло меня новизной перипетий, им порожденных. Пусть и невозможное в действительности, оно позволяет воображению автора начертать картину человеческих страстей с большей полнотой и убедительностью, чем могут ему дать любые события реальной жизни.

Итак, я старалась оставаться верной основным законам человеческой природы, но позволила себе внести нечто новое в их сочетания. «Илиада», древнегреческие трагедии, Шекспир в «Буре»¹⁹ и в «Сне в летнюю ночь»²⁰ и особенно Мильтон в «Потерянном Рае» – все тому следуют, и самому скромному романисту, желающему сочинить нечто занимательное, дозволено воспользоваться сим правом, а вернее, правилом, породившим столько пленительных картин человеческих чувств в величайших творениях поэтов.

Случай, составляющий основу моей повести, которую я начала отчасти ради забавы, отчасти для упражнения скрытых способностей ума, был впервые упомянут в мимолетной беседе. По мере работы над нею к этим мотивам добавились и другие. Мне отнюдь не безразлично, какое впечатление может произвести на читателя нравственная сторона изображения чувств и характеров, однако тут я всего лишь стремилась избежать расслабляющего действия нынешних романов, показать прелесть семейных привязанностей и величие добродетели. Суждения, естественные для моего героя при его характере и тех обстоятельствах, в которых он оказывается, не всегда являются также и моими; не следует искать на этих страницах порицания какой бы то ни было из философских доктрин.

Особое значение имеет для автора то, что повесть была начата среди величавой природы, где и происходит большая часть ее действия, и в обществе людей, о которых я не устану сожалеть. Лето 1816 года я провела в окрестностях Женевы. Погода стояла холодная и дождливая, по вечерам мы собирались у пылающего камина и развлекались чтением попавшихся под руку немецких историй о привидениях²¹. Они вызвали у нас шутовское желание подражать. Я и двое моих друзей (один из которых мог бы написать повесть более ценную для читателя, чем все, что я смею надеяться когда-либо создать) уговорились, что каждый сочинит рассказ о некоем сверхъестественном событии²².

Однако погода внезапно сделалась безоблачной. Оба моих друга, оставив меня, отправились путешествовать в Альпы²³ и среди открывшегося перед ними великолепия забыли и думать о призраках. Предлагаемая читателю повесть оказалась единственной, которая была завершена.

*Марло, сентябрь 1817 года*²⁴

Предисловие [автора к изданию 1831 года]

Издатели «Образцовых романов», включив «Франкенштейна» в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила историю создания повести. Я согласилась тем более охотно, что это позволит ответить на вопрос, который так часто мне задают: как могла я, в тогдашнем юном возрасте, выбрать и развить столь жуткую тему?²⁵ Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати, но, поскольку сей рассказ послужит всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничится темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости.

Нет ничего удивительного в том, что дочь родителей, занимавших видное место в литературе²⁶, очень рано начала помышлять о сочинительстве и марала бумагу еще в детские годы²⁷. «Писать истории» сделалось любимым моим развлечением. Но еще большей радостью были грезы наяву, возведение воздушных замков, когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Грезы эти были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим – стремилась делать все как у них, но не то, что подсказывало мне собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя – подруги моего детства²⁸; грезы же принадлежали мне одной; я ни с кем не делилась ими, они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга.

Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и безлюдных северных берегах Тей, вблизи Данди²⁹. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и безлюдными, но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. В ту пору я писала, но это были весьма заурядные вещи³⁰. Истинные мои произведения, где вольно взлетала фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор. В героини повестей я никогда не избирала самое себя, чья жизнь представлялась мне чересчур обыденной. Я не мыслила, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения, но и не замыкалась в границах своей личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте казались мне куда интереснее собственного бытия.

Впоследствии жизнь заполнилась заботами, и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности, да и сама я в ту пору мечтала о ней, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он хотел, чтобы я писала, не столько потому, что считал меня способной создать нечто заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем. Но я ничего не предпринимала. Переезды и семейные заботы заполняли все мое время, литературные занятия сводились к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом.

Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона³¹. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах; лорд Байрон, в то время сочинявший 3-ю песнь «Чайльд-Гарольда»³², был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались.

Но лето выдалось дождливым и ненастным, непрерывный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский. Там была история о неверном возлюбленном, где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака той, кого когда-то покинул³³. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста³⁴. В полночь, при неверном свете луны, исполинская фигура, закованная в доспехи, но с поднятым забралом, подобно призраку в «Гамлете», медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен, но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и он приближался к ложу прекрасных юношей, погруженных в сладкий сон. С невыразимой скорбью он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелуй на челе отроков, которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля. С тех пор я не перечитывала этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера.

«Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть», – сказал лорд Байрон, и его предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме «Мазепа»³⁵. Шелли лучше удавалось воплощать мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, нежели сочинить фабулу рассказа, и он начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей ранней юности³⁶. Бедняга Полидори³⁷ придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп – в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину³⁸; не помню уж, что она хотела увидеть, но, наверное, что-нибудь неподобающее; таким образом, расправившись с героиней хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри³⁹, он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить красавицу в семейный склеп Капулетти⁴⁰ – единственное подходящее для нее место. Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого.

А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, что подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие – худшую муку сочинителей, – когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» – спрашивали меня каждое утро, и каждое утро, как ни обидно, я должна была отвечать отрицательно.

«Все имеет начало», говоря словами Санчо⁴¹, но и это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. Индийцы считают, будто мир держится на слоне, но слона они ставят на черепахе. Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а лишь из хаоса; им нужен прежде всего материал, они могут придать форму бесформенному, но не могут рожать самую сущность. Все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе и его яйце⁴². Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли.

Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести⁴³. Они говорили об опытах доктора Дарвина (я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме) – он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом

не обрел способности двигаться⁴⁴. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить труп; явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться⁴⁵; быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь.



Вилла Диодати – особняк в деревне Колоньи близ Женевского озера.

Этот дом Джон Гордон Байрон и Джон Полидори арендовали летом 1816-го года. Мэри и Перси Шелли арендовали дом неподалеку и часто навещали виллу Диодати. В июне 1816-го года из-за плохой погоды чета Шелли, сестра Мэри Клер Клермонт, а также Джон Байрон и Джон Полидори оказались заточены на вилле. Ради шутки лорд Байрон предложил пари, в результате которого родился демон Франкенштейна

Пока они беседовали, день подошел к концу; было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но каким-то внутренним взором я необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинувшись некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже зашевелилось. Такое зрелище страшно, ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего детища. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставить самой себе, что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей; он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будит его; он открывает глаза и видит, как чудовище раздвигает занавеси у изголовья, глядя желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами на своего творца.

Тут я в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого порождения своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее как сейчас: комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила себя думать о другом, мыслями обратясь к своему страшному рассказу – к злополучному рассказу, который так долго не получался! О, если б я

могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я ночью!

И тут меня озарила мысль, быстрая как вспышка света и столь же радостная: «Придумала! То, что напугало меня, напугает и других – достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели». Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Однажды ненастной ноябрьской ночью»⁴⁶, а затем записала свой ужасный сон наяву.

Сперва я думала уместить его на нескольких страницах, но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести, и все же, если б не его уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказанное не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им.

И вот я снова посылаю в мир свое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу⁴⁷. Это, впрочем, касается лишь меня; читателям нет дела до моих воспоминаний.

Добавлю только одно слово по поводу внесенных в текст поправок. Главным образом они касаются стиля. Я не изменила ни единой части рассказа, не ввела никаких новых идей и обстоятельств. Я лишь поправила слог там, где он был настолько невыразителен, что лишал повествование интереса; эти изменения касаются – за редкими исключениями – начала первого тома. Во всех случаях они приходятся лишь на такие места, которые являются простыми дополнениями к самой истории, далеки от ее сути и не затрагивают ее содержания.

М. У. Ш.

Лондон, 15 октября 1831 года

Разве я просил тебя, творец,
Меня создать из праха человеком?
Из мрака я просил меня извлечь?⁴⁸

Джон Мильтон. «Потерянный рай»

Письмо первое

*В Англию, миссис Сэвилл*⁴⁹

*Санкт-Петербург, 11 декабря 17... года*⁵⁰

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе дела.

Я нахожусь теперь далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже заставляет предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламеннее. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс – это обитель холода и смерти, он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там – ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам – кончается власть мороза и снега и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, донныне открытые человеком⁵¹. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления⁵². Чего только не приходится ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку, а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз и навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня – побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя, перед началом трудного пути, той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита – ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с какой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели – точки, к которой устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о различных путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям⁵³. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образование моим никто не занимался, но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что отец, как я узнал еще ребенком, перед смертью строго наказал дяде не пускать меня в море.

Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известна постигшая меня неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам детства.

Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопро-

вождал китоловов в северные моря; я добровольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался вторым помощником капитана на гренландские китобойные суда⁵⁴ и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал согласиться: так высоко он оценил мою службу.

А теперь скажи, милая Маргарет: неужели я недостойн свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши, но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решение мои неколебимы, но надежда и твердость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребует вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом.

Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу, этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха; такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе – совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

В последний из названных мною городов я отправляюсь через две-три недели и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму; хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я рассчитываю пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь? Ах, милая сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может, и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро – или не увидишь никогда.

Прощай, милая, добрая Маргарет. Пусть Бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за любовь и заботу.

Любящий брат Р. Уолтон

Письмо второе

В Англию, миссис Сэвилл

Архангельск, 28 марта 17... года

Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом! Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов; те, кого я уже нанял, кажутся людьми надежными и, несомненно, отважными.

Не хватает лишь одного – не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга, Маргарет; никого, кто мог бы разделить со мною радость, если суждено счастье успеха, никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом, кто сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Правда, я буду верить мысли бумаге, но она мало пригодна для передачи чувств. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым; нет друга, который разделял бы мои стремления, сумел бы одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата! Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкою: первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны, но слишком поздно убедился в необходимости знать другие языки, кроме родного, – когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, а ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю; но этим мечтам недостает того, что художники называют «соотношением», и мне очень нужен друг, имеющий достаточно чувства, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить.

Впрочем, все эти жалобы бесполезны: какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Хотя и им, при всей их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, – человек на редкость отважный и предприимчивый; он страстно жаждет славы или, вернее сказать, преуспевания на своем поприще. Он родом англичанин и, при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не облагороженных просвещением, сохранил немало достойнейших качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна; узнав, что у этого человека сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии.

Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью обращения. Именно эти свойства, в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием, и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах; я никогда не считал ее необходимой. Услышав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах, от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце история этого моряка⁵⁵. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег⁵⁶, отец девушки согласился на брак. Перед свадьбой моряк встретился со своей невестой, но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее; она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец никогда не даст согласия на их брак. Мой великодушный друг успокоил девушку и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные

деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда, – все это, вместе с остатками наградных денег, он отдал своему сопернику на обзаведение и сам испросил у отца девушки согласия на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом; тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое благоденствие!» – воскликнешь ты. Да, он именно таков; но при этом совершенно необразован, молчалив как турок и угрюм, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которое этот человек мог бы вызывать.

И все же, если я порой жалуясь и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба, и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Зима была на редкость суровой, но весна обещает быть дружной и очень ранней, так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво; ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда я в ответе за безопасность других.

Не могу описать тебе своих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить радостный и вместе тревожный трепет, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в «края туманов и снегов», но я не намерен убивать альбатроса⁵⁷, поэтому не бойся за меня – я не вернусь к тебе разбитым и больным, как Старый Мореход. Ты улыбнешься при этой аллюзии, но открою тебе один секрет. Свою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетается любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать.

Вернусь, однако, к вещам, более близким сердцу. Увижу ли тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря и проследую назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни с любовью о своем брате, если больше о нем не услышишь.

Любящий тебя *Роберт Уолтон*

Письмо третье

В Англию, миссис Сэвилл

7 июля 17... года

Дорогая сестра!

Пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр, мои люди отважны и тверды, их не страшат плавающие льды, то и дело появляющиеся за бортом как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт; но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и холоднее, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал.

До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне – события, которые не остаются в памяти опытных моряков; буду рад, если с нами не приключится ничего худшего.

До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен.

Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане; самые звезды являются свидетелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти и дальше, в глубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваге и воле человека?

Переполюющие меня чувства невольно рвутся наружу, а между тем пора заканчивать письмо. Да благословит Небо мою милую сестру!

Р. У.



Иоганн Конрад Диппель (1673–1734) – немецкий алхимик, родился в замке Франкенштейн и потому иногда добавлявший к своей фамилии определение Франкенштейнский, немецкий ученый и алхимик, по мнению некоторых исследователей, ставший прототипом Виктора Франкенштейна – главного героя романа Мэри Шелли

Письмо четвертое

В Англию, миссис Сэвилл

5 августа 17... года

С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо.

В прошлый понедельник (31 июля) мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя свободный проход. Положение наше стало опасным, в особенности из-за густого тумана. Поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды.

Около двух часов дня туман рассеялся, и мы увидели простирившиеся во все стороны обширные ледовые поля, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу, но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; санями управляло существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись в ледяных холмах.

Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли, но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.

Часа через два после этого события мы услышали шум волн; к ночи лед вскрылся, и корабль был освобожден. Однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавучими глыбами, которые возникают при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть.

Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно, переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю на большой льдине прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Он не походил на туземца с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник; это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море».

Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, – сказал он, – прошу сообщить мне, куда он направляется».

Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услышал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем на свете. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу.

Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий Боже! Если бы ты только видела, Маргарет, этого несчастного, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, без свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова перенесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком; несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяла и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил.

Прошло два дня, прежде чем незнакомец смог заговорить, и я уже опасался, что злоключения лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека; обычно взгляд его дик и почти безумен, но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благодарной улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен, а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий.

Когда мой гость немного оправился, мне стоило немалых трудов удерживать матросов, которые жаждали расспросить его; я не мог допустить, чтобы донимали праздным любопытством того, чьи тело и дух явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его, как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже.

Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил: «Я преследовал беглеца».

«А беглец путешествует тем же способом?»

«Да».

«В таком случае мне думается, что мы его видели: накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях – человека».

Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким следовал демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал:

«Я наверняка возбудил ваше любопытство, как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать».

«Разумеется, бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами».

«Но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни».

Затем он поинтересовался, не могли ли те, другие, сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что наверное этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места.

С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить за тем, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное.

Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его как брата; его постоянная, глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, так привлекает к себе.

В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах; и, однако ж, я нашел человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если б только его не сломило горе.

Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать.

13 августа 17... года

Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и вместе с тем так мудр; он широко образован, а когда говорит, речь его поражает и беглостью и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью.

Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо, ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним на языке сердца; открыл все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь – сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества⁵⁸. При этих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение: он закрыл глаза руками, но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк – а он заговорил прерывающимся голосом: «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием? И ты отведал опьяняющего напитка? Так выслушай же меня, узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом!»⁵⁹

Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство, но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком утомительным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились.

Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно хочу иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душой, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив.

«Я с вами согласен, – отвечал незнакомец, – мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, – а именно таким должен быть друг, – не поможет нам побороть наши слабости и пороки. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед вами – весь мир, и у вас нет причин отчаиваться. Но я – я утратил все и не могу начать жизнь заново».

При этих словах на лице его выразилось тяжкое, неизбывное страдание, тронувшее меня до глубины сердца. Но затем он умолк и удалился в свою каюту.

Даже сломленный духом, этот человек как никто умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан и все ландшафты окружающих нас удивительных мест еще имеют над ним силу и возвышают его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь: он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого, но, уходя в себя, уподобляется небесному духу; его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа горю и злу.

Неужели ты станешь смеяться над тем, как восхищает меня этот удивительный странник? Если так, то это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной; но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над всеми, донныне мне встречавшимися. Мне кажется, что это – некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения, необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей; добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями.

19 августа 17... года

Вчера незнакомец сказал мне: «Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить решение. Так же как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию, и я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это

случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, как вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, что довели меня до нынешнего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в случае неудачи. Приготовьтесь услышать историю, которая может показаться неправдоподобной. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку, но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у не посвященных в тайны природы; не сомневаюсь к тому же, что мое повествование заключает в себе самом доказательства своей истинности».

Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению, но я не мог допустить, чтобы рассказом о пережитых несчастьях он бередил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если бы это оказалось в моих силах. Все эти мысли я высказал в своем ответе.

«Благодарю вас за сострадание, – ответил он, – но оно бесполезно; предначертанное свершилось. Я жду лишь одного события – и тогда обрету покой. Я понимаю ваши чувства, – продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, – но вы ошибаетесь, друг мой (если мне позволено так называть вас), – ничто не может изменить моей судьбы; выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно».

Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне каждый вечер, когда мне не помешают обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом, но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам – я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст! Даже сейчас, приступая к записям, я будто слышу его звучный голос, вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом, и на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза. Необычной и страшной была повесть его жизни, ужасна буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.

Глава первая

Я уроженец Женевы, мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками⁶⁰, отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. За честность и усердие на общественном поприще он пользовался всеобщим уважением. Молодость его была всецело посвящена служению стране, различные обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом.

Обстоятельства брака столь ярко рисуют характер моего отца, что я должен о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негодичант, который вследствие многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек, по фамилии Бофор, обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн⁶¹, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсадившей его другу поступок, столь недостойный их отношений. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить друга воспользоваться его поддержкой и начать жизнь заново.

Бофор всячески постарался скрыть свое местопребывание, и отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи Рейса⁶². Но там он увидел отчаяние и горе. После краха Бофору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев; тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось, поскольку он имел время на размышления, и наконец так овладело им, что на исходе третьего месяца он слег и уже ничего не мог предпринять.

Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни.

Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже, уход за ним занимал почти все ее время, добывать деньги стало труднее, и на десятом месяце отец скончался на ее руках, оставив дочь нищей сиротой. Последний удар сразил ее; горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора; в эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдала себя под его покровительство. Похоронив друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. Два года спустя Каролина стала его женой.

Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чувство справедливости, он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостоин, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери соединились благоговение и признательность; отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность, они были внушены восхищением достоинствами жены и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок от каждого дуновения ветра, и окружал всем, что могло приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили здоровье Каролины и поколебали даже

ее душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил с себя все свои общественные обязанности; тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемена обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством.



Замок Франкенштейн – замок в Германии, построенный на высоте (370 м) одной из вершин горного массива Оденвальд к югу от немецкого города Дармштадт (земля Гессен) в 35 км от Франкфурта с видом на долину Рейна

Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе⁶³ и первые годы жизни сопровождал родителей в их странствиях. В течение нескольких лет я был единственным ребенком. Как ни привязаны они были друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца – таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой, их божком и – еще лучше того – их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным Небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполняют свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей обоих, можно представить себе, что, хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием.

Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет пять, родители, во время поездки за пределы Италии, провели неделю на берегу озера Комо⁶⁴. Доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для матери это было больше чем простым долгом, для нее стало потребностью и страстью в память о собственных страданиях и избавлении в свою очередь являться страждущим как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок внимание моих родителей привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказались крестьянин с женой; согбенные трудом и заботами, они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери: она казалась существом какой-то иной породы. Четверо других

были черноглазые, крепкие маленькие оборвыши, а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и, несмотря на убогую одежду, венчали ее как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому видевшему ее она казалась созданием особенным, сошедшим с Небес и отмеченным печатью своего небесного рождения.

Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой; она умерла при родах. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью; тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их питомицы был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии, одним из *schiaivi ognor frementi*⁶⁵, стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице⁶⁶ – этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротой и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме, прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника.

Вернувшись из Милана, отец увидел в гостиной нашей виллы игравшего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, – существо, словно излучавшее свет, в движениях легкое, как горная серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать их питомицу ей.

Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить девочку в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посоветовались с деревенским священником, и вскоре Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более – прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, мать шутливо сказала: «У меня есть для моего Виктора замечательный подарок, завтра он его получит». Когда наутро она представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал эти слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет своей – порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расхолаживаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней – она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.

Глава вторая

Мы воспитывались вместе, разница в нашем возрасте не составляла и года; нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня, зато я, при всей своей необузданности, обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жаждой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом, – в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неугомонной жизни альпийского лета – она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне уже проявлялись любопытство, упорное стремление постичь тайные законы природы и восторженная радость познания.

С рождением второго сына – спустя семь лет после меня – родители отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача в Бельрив, на восточном берегу озера, примерно в одном лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Поэтому я оставался равнодушен к школьным товарищам, однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль, мальчик, наделенный выдающимися талантами и живым воображением, был сыном женеvского негодянта. Трудности, приключения и даже опасности влекли Анри сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах, сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания, причем чаще всего мы изображали героев Ронсевалья⁶⁷, рыцарей Артурова Круглого стола⁶⁸ и воинов, проливавших кровь за освобождение Гроба Господня⁶⁹ из рук неверных.

Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность лишь усиливала мою сыновнюю любовь.

Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело, но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские шалости, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекали ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба, будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы, и тайны человеческой души, мой интерес был сосредоточен на метафизических или – в высшем смысле этого слова – физических тайнах мира.

Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев – вот что его занимало; его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил умиротворяющий дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность – грубым, если бы присутствие Элизабет не смягчало меня, передавая мне частицу ее кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места в благородной душе Клерваля, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к

опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.

Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не поразили мой дух и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными только на себе. Однако, рисуя картины моего детства, я повествую и о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям, ибо, желая вспомнить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, родилась из едва заметных источников, чтобы затем, набирая силу, стать бурным потоком, унесшим все мои радости и надежды.

Естествознание – вот демон, правивший моей судьбой. Поэтому в своем повествовании я хочу указать на обстоятельства, которые заставили меня предпочесть его всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Непогода на целый день заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я рассеянно открыл его, но теория, которую он пытался доказать, и удивительные факты, о которых он повествовал, вскоре привели меня в восхищение. Меня словно озарил новый свет; полный радости, я рассказал о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать времени на подобную чепуху».

Если бы вместо этого замечания отец взял на себя труд объяснить мне, что учение Агриппы полностью опровергнуто, что его сменила новая научная система, более основательная, чем прежняя, – ибо могущество прежней было призрачным, тогда как новая оказалась реалистична и плодотворна, – я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое пылкое воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мои мысли никогда не получили бы рокового толчка, приведшего меня к гибели. Но беглый взгляд, брошенный отцом на книгу, отнюдь не убедил меня, что он знаком с ее содержанием; поэтому я с жадностью продолжил чтение. Вернувшись домой, я первым делом раздобыл все сочинения моего автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением изучал их безумные вымыслы; они казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд и удивительные открытия современных ученых, их книги всегда оставляли меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.

Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал не многим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.

А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке, но дело в том, что в силу рутины, царившей в женеvских школах, я по части своих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня и жизненного эликсира. Последний вскоре целиком завладел моим вниманием; богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава

ждала бы меня, если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для всего, кроме насильственной смерти!

Но я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы не скупились на обещания научить заклинанию духов или дьяволов; я с жаром принялся этому учиться. И если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал это собственной неопытности и ошибкам, но не смел сомневаться в учености наставников или точности их слов. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякий невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новое направление моим мыслям.

Когда мне было лет пятнадцать, мы переехали в наш загородный дом возле Бельрив и там стали свидетелями необыкновенно сильной грозы. Она пришла из-за горного хребта Юры; оглушительный гром загремел со всех сторон сразу. Пока продолжалась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из великолепного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось пламя; когда погас его ослепительный свет, на месте дуба остался лишь обугленный пень. Подойдя к нему следующим утром, мы увидели, что дерево разрушено необычным образом. Удар молнии не просто расколол его, но расщепил на тонкие полоски древесины. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения.

Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель⁷⁰. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма⁷¹, которые были для меня и новы и удивительны. Все рассказанное им отодвинуло на задний план властителей моих дум – Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса; но свержение этих идолов одновременно отбило у меня и охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не стоящим внимания. Повинуясь одному из тех капризов, которые более свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои прежние увлечения, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, которой не суждено даже переступить порога подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с нею науки, покоящиеся на прочном фундаменте, а потому достойные внимания.

Вот как странно устроен человек и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что эта почти чудом свершившаяся перемена склонностей была подсказана мне моим ангелом-хранителем; то была последняя попытка добрых сил отвести грозу, уже нависшую надо мной и готовую меня поглотить. Победа доброго начала сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении, которые я обрел, отказавшись от прежних занятий, ставших для меня в последнее время мукой. Мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня губительны и что мое спасение заключается в отказе от них.

Дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы предопределили мою окончательную и ужасную гибель.

Глава третья

Когда я достиг семнадцати лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта⁷². Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день отъезда, но, прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшее.

Элизабет заболела скарлатиной; она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров, но, услышав об опасности, грозившей ее любимице, не могла более сдерживать свое беспокойство. Она стала ходить за больной, ее неусыпная забота победила злой недуг – Элизабет была спасена, но для ее спасительницы эта неосторожность оказалась роковой. На третий день мать почувствовала себя плохо; возникший у нее жар сопровождался самыми тревожными симптомами, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к печальному концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети, – сказала она, – я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами! Я была счастлива и любима – каково мне покидать вас... Но это – недостойные мысли; я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире».



Гравюра с фронтисписа издания «Франкенштейна» 1831 года.
Художники – Генри Колберн и Ричард Бентли

Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо: пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда – что могло навеки угаснуть сиянье любимых глаз, могли навеки умолкнуть звуки знакомого, милого голоса. Таковы размышления первых дней; когда

же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает наконец время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать, и, хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые следовало выполнять; надо было жить и считать себя счастливыми, пока рядом находился хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти.

Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось недостойным так скоро покинуть дом скорби, где царил почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно не испугало меня. Мне жаль было оставлять своих близких, и прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет.

Правда, она скрывала свою печаль и сама старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности, посвятив себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, Элизабет забывала о своем.

Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив; но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции.

Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». В конце концов оно было сказано, и мы разошлись якобы на покой; каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого; когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, все собрались снова: отец – чтобы еще раз благословить меня, Клерваль – чтобы еще пожать мне руку, моя Элизабет – чтобы повторить свои просьбы писать почаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским взглядом.

Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и протекала всецело в домашнем кругу; это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля – это были «милые знакомые лица»⁷³, и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути, но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах, хотелось повидать свет и найти свое место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо.

Путь в Ингольштадт был долог и утомителен⁷⁴, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на одинокую квартиру, предоставив провести вечер как заблагорассудится.

Наутро я вручил свои рекомендательные письма и сделал визиты нескольким главным профессорам. Случай – а вернее, злой рок, Дух Гибели, взявший надо мною полную власть, едва я скрепя сердце покинул родительский кров, – привел меня сперва к господину Кремле, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов – с целью проэкзаменовать в различных областях естествознания. Я отвечал небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве

главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза: «И вы в самом деле тратили время на изучение подобного вздора?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, – с жаром сказал господин Кремле, – каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали, тысяча лет и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия».

Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман в другие дни будет читать лекции по химии.

Я возвратился к себе ничуть не обескураженный, ибо и сам, как уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги; но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Господин Кремле был приземистым человеком с резким голосом и отталкивающей внешностью; так что и сам учитель не расположил меня к своему учению. В общем, так сказать, философском смысле я уже говорил, к каким заключениям пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царил полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства; я прошел вспять по пути науки и открытиям моих современников предпочел грезы давно забытых алхимиков. К тому же я презирал современное применение естественных наук. Все было иначе, когда ученые стремились к бессмертию и власти; то были великие, хотя и бесплодные стремления; теперь же все переменялось. Нынешний ученый, казалось, ограничивался опровержением именно тех видений, на которых главным образом и был основан мой интерес к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма убогую реальность.

Так размышлял я в первые два или три дня пребывания в Ингольштадте, которые посвятил преимущественно знакомству с городом и новыми соседями. Но в начале следующей недели я вспомнил про лекции, о которых упоминал г-н Кремле. Не испытывая никакого желания идти слушать, как будет изрекать с кафедры свои сентенции этот самоуверенный человек, я, однако, вспомнил, что он говорил о г-не Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его в то время не было в городе.

Частью из любопытства, а частью от нечего делать я пришел в аудиторию, куда вскоре явился г-н Вальдман. Этот профессор мало походил на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят, а лицо его выражало величайшую доброту; на висках волосы его начинали седеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал⁷⁵. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце изобразил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключение произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду⁷⁶.

«Прежние представители этой науки, – сказал он, – обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало, они знают, что превращение металлов немислимо, а эликсир жизни – несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тиглем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса⁷⁷; они узнали, как обращается в нашем теле кровь⁷⁸ и из чего состоит воздух⁷⁹, которым мы дышим.

Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру».

Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того как он говорил, я чувствовал, что схватился наконец с достойным противником; он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. «Если столько уже сделано, – восклицала душа Франкенштейна⁸⁰, – я сделаю больше, много больше; идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою не изведенные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы».

В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело; я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его создать. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре; некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что его коллеге. Профессор внимательно выслушал мою краткую повесть, улыбнулся при упоминании о Корнелии Агриппе и Парацельсе, однако без того презрения, какое обнаружил г-н Кремле, и заметил, что «неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую: дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные ими⁸¹. Труд гениев, даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества». В ответ на эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, я заверил, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков; я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг.

«Я счастлив, – сказал г-н Вальдман, – что обрел ученика, и если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике».

Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов; сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинулся в учении, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и я откланялся.

Так окончился этот памятный для меня день, который решил мою судьбу.

Глава четвертая

С того дня естествознание и особенно химия в самом широком смысле слова стали почти единственным моим увлечением. Я усердно читал талантливые и обстоятельные сочинения современных ученых, слушал лекции и знакомился с университетскими профессорами, и даже в г-не Кремле обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда, сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но оттого не менее ценных. В лице г-на Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отдавала нравоучительностью; свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого педантизма. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание, поначалу неустойчивое, постепенно окрепло и вскоре сделалось столь пылким и страстным, что нередко звезды исчезали в утреннем свете, а я все еще трудился в своей лаборатории.

При таком упорстве я, разумеется, добился немалых успехов. Я поражал студентов своим усердием, а наставников – познаниями. Профессор Кремле не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелий Агриппа, а г-н Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, и за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшись трудам, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым прежде прошли другие, ничего вам не оставив; тогда как здесь вы непрерывно что-то открываете и изумляетесь. Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний; поставив себе одну-единственную цель и полностью ей отдавшись, я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из теории и практики естествознания все, что могли дать мне ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места; но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте.

Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало?⁸² Вопрос смелый и всегда считавшийся загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и лень. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены сперва обращаться к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало: требовалось наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не закрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные рассказы, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обиталищ красоты и силы сделались добычей червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет – столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.

Помните, что эта история – не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни; более того – я узнал, как самому оживлять безжизненную материю.

Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний – в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие оказалось столь ошеломляющим, что ход мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из памяти, и я видел один лишь конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен. Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству; то, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели, но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидавшему выход из склепа при свете единственного, слабо мерцавшего лучика⁸³.

По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет – выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, каким был я сам, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставления, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливее того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов.



Memento mori. Гравюра XVIII века. Художник неизвестен

Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело, во всей сложности нервов, мускулов и сосудов, оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм, но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой тяжелой задачи, но я не сомневался, что сумею все преодолеть. Я заранее приготовился к множеству трудностей; к тому, что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным; но, памятуя о ежедневных открытиях техники и науки, надеялся, что мои попытки хотя бы

заложат основание для будущих достижений. Сложность и дерзость замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального плана и решил создать гиганта – около восьми футов ростом и соответственно мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело.

Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя; множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, сколько обрету я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я, со временем (хотя сейчас это было для меня невозможно) я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже обрекла на исчезновение⁸⁴.

Эти мысли поддерживали мой дух, покуда я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами, при свете месяца, я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках. Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман; но в ту пору какое-то безудержное исступление влекло меня вперед.

Казалось, я утратил все ощущения и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость – чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее, на чердаке, отделенном от всех других помещений галереей и лестницей; иные подробности этих занятий внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне большую часть материалов, и я часто содрогался от отвращения, но, подгоняемый все возрастающим нетерпением, все же вел дело к концу.

За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное: никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники – лучшего сбора; но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и не виденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца: «Знаю, что, пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями».

Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, но не мог оторваться от занятий, которые, как бы ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо.

Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и ленью; но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желаниям возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в вас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в них наверняка есть нечто не подобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то

ни было, Греция не попала бы в рабство, Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению⁸⁵.

Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее.

Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробней, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был предан своим трудам, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, – настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил; и теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены; я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину; меня поддерживало только стремление к цели; труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения не дадут развиться начинавшейся болезни; я обещал себе и то, и другое, как только работа будет окончена.

Глава пятая

Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение своих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи, дождь уныло стучал в оконное стекло, свеча почти догорела, и вот в ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза, как существо начало дышать и судорожно подергиваться.

Как описать, что я ощутил при виде этого ужасного зрелища, как изобразить несчастного, созданного мною с таким невероятным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые – великий Боже! Желтая кожа слишком туго обтягивала мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые, как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от самих глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта.

Нет в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти два года я трудился с единственной целью – вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с иступленной страстью, а теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах смотреть далее на свое творение, я кинулся вон из комнаты и долго метался без сна по своей спальне. Наконец мое возбуждение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Напрасно! Мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар. Прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, однако едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уже я держу в объятиях труп своей матери, тело ее окутано саваном, а в его складках копошатся могильные черви. В ужасе я проснулся, на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, все тело сводила судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного уродца, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати, глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.

Он, кажется, говорил, но я его не слышал; он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.

На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным – оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте⁸⁶.

Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К ужасу примешивалась горечь разочарования; то, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение – и как внезапно и непоправима была эта перемена!

Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим воспаленным от бессонницы глазам предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем, я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой со страхом ожидал при каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру, что-то гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба.

Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неуверенной походкой, не смея оглянуться назад.

Так одинокий пешеход,
Чье сердце страх гнетет,
Назад не смотрит, и спешит,
И смотрит лишь вперед,
И знает, знает, что за ним
Ужасный враг идет⁸⁷.

Незаметно я дошел до постоянного двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это швейцарский дилижанс; он остановился прямо подле меня, дверцы открылись, и появился Анри Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа. «Милый Франкенштейн, – воскликнул он, – как я рад тебя видеть! Как удачно, что ты оказался здесь к моему приезду».

Ни с чем не сравнить моего восторга при виде Клерваля; его появление напомнило мне об отце, Элизабет и счастливых днях у домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас и свою беду – впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга, и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших общих друзьях и был особенно доволен, что ему разрешили приехать в Ингольштадт.

«Можешь себе представить, – говорил он, – как трудно было убедить отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии; думаю, он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в «Векфилдском священнике»: «Мне платят десять тысяч флоринов в год – без греческого языка; я ем-пью без всякого греческого языка»⁸⁸. Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он дал согласие на мое путешествие в страну знания».

«Я безмерно счастлив тебя видеть, но скажи мне, как поживают мои отец, братья и Элизабет?»

«Они здоровы, и все у них благополучно; их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн, – прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо, – я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид; ты худ, бледен и выглядишь так, точно не спал несколько ночей».

«Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, но надеюсь, что теперь с этим покончено и я свободен».

Меня снова охватила дрожь; я не мог даже думать, не то что рассказывать, о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро добрались до моего колледжа. Тут мне пришло в голову – и мысль эта заставила меня содрогнуться, – что существо, оставшееся у меня на квартире, могло еще быть там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти, холод пронизывал меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидая увидеть привидение; за дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста; не оказалось ужасного гостя и в спальне. Я едва решался верить такому счастью, но, убедившись, что враг действительно исчез, радостно всплеснул руками и побежал вниз за Клервалем.

Мы поднялись ко мне, и скоро слуга принес нам завтрак. Я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью – все мое тело трепетало от возбуждения, пульс бился как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте: перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, взглядевшись внимательнее, заметил в моих глазах дикие искры безумия, а мой неуправляемый, истерический хохот удивил и испугал его.

«Милый Виктор, – воскликнул он, – скажи, ради бога, что случилось? Не смейся так. Ведь ты болен. Какова причина всего этого?»

«Не спрашивай! – вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату. – Он может рассказать... О, спаси меня, спаси!» Мне показалось, что чудовище схватило меня, я стал неистово отбиваться и в судорогах упал на пол.

Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать! Встреча, которой мой друг ждал с таким нетерпением, обернулась горечью. Но я ничего этого не сознавал – я был без памяти, и прошло немало времени, прежде чем я пришел в себя. То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом.

В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной самоотверженной заботы моего друга, не могло вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенное мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри; сперва он счел их бессмыслицей, но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие.

Я поправлялся очень медленно – не раз повторные вспышки недуга пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, заглядывавших в мое окно, вместо осенних листьев появились молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость, мрачность моя исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда еще не знал роковой страсти.

«Дорогой мой Клерваль, – воскликнул я, – ты бесконечно добр ко мне! Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем смогу я отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе, но ты меня простишь».

«Ты полностью отблагодаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться и постараться поскорее поправиться; и раз ты так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой?»

Я вздрогнул. Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать?

«Успокойся, – сказал Клерваль, заметив, что я переменялся в лице, – я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел, и встревожены твоим долгим молчанием».

«И это все, милый Анри? Как мог ты подумать, что первая моя мысль будет не о дорогах и близких людях, таких любимых и столь достойных любви?»

«Если так, друг мой, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уже несколько дней тебя ожидает. Кажется, оно от твоей кузины».

Глава шестая

И Клерваль протянул мне письмо. Оно было от моей Элизабет.

«Дорогой кузен!

Ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено даже держать перо, но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уже давно с нетерпением жду каждой почты и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Ингольштадт. Мне не хотелось бы подвергать его неудобствам, быть может, даже опасностям, столь долгого пути, но как часто я сожалела, что сама не могу его проделать! Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твоих желаний и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади, Клерваль пишет, что тебе лучше. Я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом.



Замок Франкенштейн в Германии. Чета Шелли побывала здесь во время своего шестинедельного путешествия по Европе. Действие романа Мэри Шелли, скорее всего, происходит именно здесь

«Смерть – всего лишь высокие ворота и широкая дорога, ведущая к жизни»
(Мэри Шелли)

Выздоровливай – и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодр и здоров, и ему нужно только одно – увидеть тебя, убедиться, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста! Ему уже шестнадцать, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска, но мы не в силах с ним расстаться, по крайней мере до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военной службы в чужих странах, но ведь у Эрнеста никогда не было твоего прилежания. Ученье для него – тяжелое бремя; он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь.

С тех пор как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве только подросли наши милые дети. Синее озеро и снеговые горы не меняются; мне кажется, что наш мирный дом и безмя-

тежные сердца живут по тем же незыблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды служат довольные и добрые лица окружающих. Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жюстина Мориц? А может быть, и нет – поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю. Мать ее, госпожа Мориц, осталась вдовой с четверьмя детьми, из которых Жюстина, любимица отца, была третьей. Но мать, по какой-то странной прихоти, невзлюбила ее и после смерти г-на Морица стала обращаться с ней очень скверно. Моя тетушка заметила это и, когда Жюстине исполнилось двенадцать, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны породил более простые и здоровые нравы, чем в окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положении общественных групп, низшие слои не находятся в такой бедности и презрении и поэтому более цивилизованны⁸⁹. В Женеве прислуга – это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью, Жюстина взяла на себя обязанности служанки, но в нашей счастливой стране это положение не означает невежества или утраты человеческого достоинства.

Жюстина всегда была твоей любимицей; я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение, и объяснил это так же, как Ариосто, когда он описывает красоту Анжелики⁹⁰: уж очень мило ее открытое и сияющее личико. Тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена сторицею: Жюстина оказалась самым благодарным созданием на свете. Она не выражала свою признательность словами – этого я от нее никогда не слышала, но в ее глазах светилась благоговейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это веселая и даже ветреная девушка, тетушку она слушалась во всем, видя в ней образец всех совершенств и стараясь подражать ее речи и манерам, поэтому до сих пор часто напоминает мне ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.